

Эти воспоминания — не продолжение рассказа о моём детстве («Сибирь». 2015. № 3). Пора военного детства видится мне чем-то отдельным от всего последующего, хотя, возможно, она всё и предопределяет. Может быть, давно пройдя все временные стадии своей жизни с ошибками и рефлексиями, особенными в каждом возрастном отрезке, и дойдя до времени подведения итогов, я поняла — времена помимо моей воли выстраиваются как-то по-своему, противятся системе, хронологии. Это, наверное, потому, что я уже давненько живу вне времени. Я просто вспомню интересных людей, с которыми меня связала судьба, выхвачу из полотна жизни какие-то запомнившиеся фрагменты, попытаюсь дать некоторым известным событиям свою, пусть и на посторонний взгляд спорную, оценку — ведь это будет итог моих «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

Так уж случилось, что фамилию «Пакулов» я слышала гораздо раньше нашего знакомства. В доме политпросвещения (ДПП), где проходила конференция «Молодость. Творчество. Современность», раздался с трибуны голос известного в Иркутске художника В.С. Роголя: «...А Вы, товарищ Пакулов, головой не вертите, мы не для того «заваявывали» советскую власть, чтобы молодёжь всякие выкрутасы выделывала!» Самым большим «выкрутасом» молодых писателей, художников, музыкантов в те благословенные времена была их самовольная организация в общество «Творческое объединение молодых» (ТОМ). Кто-то из комсомольского начальства (уж не помню, кто именно) стал говорить о том, что ТОМ никто не разрешал, а потому он незаконнорождённое дитя. Я с молодым безрассудством и задором вышла на трибуну и высказалась в таком духе: плохо, что в своё время не дали до конца переболеть всеми этими «измами». Вот теперь молодёжь и начала с того, на чём остановились. А в том, что ТОМ незаконнорождённое дитя, тоже

ничего дурного нет — значит, зачато оно по любви, а потому обещает быть жизнеспособным. Молодёжь была в восторге.

Часть пути из ДПП мы шли с Ростиславом Смирновым, преподавателем университета. Он сказал: «Гвалта, конечно, много, но если что доброе и выйдет из всего этого, то это Пакулов. — Немного погодя он добавил: — Если не сопьётся».

В пору «всесоюзного запоя шестидесятых» кипело всё и вся, но особенно молодёжь, она ждала перемен — хотелось большей свободы творчества, хотя никто, ни писатели, ни художники, толком и не знали, «куда нам плыть». Сборищ было много, в основном в ДПП, и, конечно, все они проходили с санкции комитета комсомола и под его бдительным приглядом. При всём характере этих тусовок — «шумим, братцы, шумим» — польза от них, как оказалось, была: из «стенки», как окрестили позже эту обалдевшую от «оттепели» молодёжь, стремящуюся догнать «скач жизни», из их общего бурлящего варева вышли индивидуальные, всяк на свой лад, писатели, поэты, драматурги. Они и составили костяк Иркутской писательской организации на многие десятилетия. К слову сказать, никакой такой внятной программы у «стенки» не было, хоть их идейный вождь, тогдашний журналист из «Молодёжки», Юлий Файбышенко пытался что-то сформулировать. Прежде всего это был протест против «руководящей и направляющей», а всяк продолжал работать, как ему работалось, не имея в виду внести нечто новое и «р-революционное» в своё творчество. Важно было держаться «комком» (пакуловское определение), «стенкой». Это придавало ощущение безопасности. Более «левыми» были художники, их не устраивала, прежде всего, ориентация на передвижничество, навязываемое компартией как эталон. На полуподпольные выставки Старикова, Пинигина и др. ходили с молодым и сладостным чувством конспираторов, но эти несерьёзные и скорodelьные, а часто просто в пику властям, хулиганские выставки проходили мирно — никто никого не гонял. Всё как-то стихло помаленьку с отлёгом Ю. Файбышенко в Москву, где он вскоре погиб при неизвестных обстоятельствах.

К слову сказать, и само слово «стенка» приобрело хождение и хоть какой-то смысл после читинского семинара, куда так дружно вломились пишущие молодые иркутяне и громко о себе заявили. Не входившего изначально в «стенку» Валентина Распутина (он тогда жил в Красноярске) после читинского семинара тоже было причислили к ней, хотя он, думаю, сразу понимал свою отдельность от любых «тусовок».

Однажды, на одном из сборищ молодёжи в ДПП, в зал ввалилась небольшая шумная группа. Понятно, начинающие писатели. У соседа я спросила, а кто из них Пакулов. Мне указали на человека в «стариковском», как мне казалось, тёмно-синем драповом пальто с каракулевым воротником и болотного цвета берете, который еле держался на его густых волнистых волосах. Говорил громко, смеялся, был возбуждён и суетлив. Рассмотрела, а потом и слушала его внимательно — ведь Ростислав Смирнов выделил его из «стенки». Стихи (что-то из «Царь-пушки») мне действительно понравились.

А познакомились мы с ним при особых обстоятельствах. В середине почему-то очень холодного мая 1963 года в Иркутск приехал Кастро, «команданте» из Кубы. Увидеть его, когда весь город высыпал на улицу, было невозможно. Я работала тогда в Художественном музее, окна его выходили на улицу Карла Маркса. Мы, зная, что он проедет по нашей улице, открыли окна, устроились на подоконнике. Вдруг в музей приходит Пётр Реутский (он часто заходил в музей, любил

и даже знал живопись — ведь на Высших литературных курсах в Москве, где он учился, историю искусства вела сама Нина Михайловна Молева), мой хороший приятель, с которым у меня завязывались более или менее романтические отношения. С собой он привёл Глеба Пакулова и объяснил, что лучшего места для лицезрения великого «команданте» в городе сейчас не сыскать, а потому попросил нас потесниться на подоконнике. Глеб при знакомстве отрекомендовался Геннадием. Его тогда все звали Генкой. (Дело в том, что, как отобразил это сам Пакулов в повести «Глубинка», когда отец Глеба в хорошем, на радостях, подпитии вместе со своим другом Филиппом шли регистрировать новорождённого, мудрёное имя, которым мать наказывала назвать сына, они забыли. По дороге встретили двоюродного брата Филиппа, которого звали Глеб, и решили, что имя красивое и вполне годится мальчику. Мать до самой смерти не смирилась с этим, сама, а затем и всё остальное семейство, стали звать его Геннадием. Часто думаю, сущность человека, судьбу его, как корабля, определяет имя — это известно издревле. В Пакулове уживались, и я это заметила скоро, два человека. Публичный — это всё-таки Глеб. Однажды мы на такси возвращались из гостей, Глеб вышел первым. Расплачиваясь с водителем, услышала от него: «Сколько я знаю Глебов, они все сумасшедшие».)

Кастро промелькнул как комета, мы только и видели макушку его головы, да и то, кажется, она была покрыта шапкой-ушанкой. Генка со второго этажа музея комментировал всё это уличное действо так остроумно, что сразу же вызвал во мне, мало сказать интерес, я думаю, что это была, с моей стороны, почти любовь с первого взгляда.

Лицезрение великого «команданте» решено было отпраздновать, что мы и сделали у Реутского. Сейчас, конечно, с юмором вспоминаю ту явно постановочную сцену ревности, что учинил мне Реутский, я очень скоро поняла, что все спектакли, рыцарские ристалища входили в «дежурные блюда» всех этих застолий. Вспоминается почему-то реплика Петра Реутского, часто звучащая из его уст, а потом ещё чаще в пародийном исполнении Г. Машкина: «Я хоть и маленький, но я полутяж».

С Глебом Пакуловым мы не виделись довольно долго — он, геофизик, уехал в геологическую партию куда-то в Читинскую область, а я, как всегда в мае, уехала в Ленинград на летнюю сессию, что делала ежегодно целых шесть лет: ведь после окончания Иркутского госуниверситета я училась на заочном отделении Ленинградской Академии Художеств на отделении истории и теории искусств. (Часто думаю, как же щедра была советская власть к тем, кто хотел учиться: дорога оплачивалась во время летней и зимней сессий, а также в течение шести месяцев дипломной сессии за студентом-заочником сохранялась зарплата!) Глеба я потеряла из виду надолго, встретились зимой в конце 1963 года у Реутского. В тот вечер был А. Преловский, пришёл Ю. Файбышенко с полубезумным, как мне показалось, человеком. И действительно, едва открылась дверь, он с диковатым взором и очень громко начал читать свои, видимо, стихи. О чём они, тоже не помню, осталось впечатление сумбура. Это был поэт Владимир (так, кажется) Трофименко. Всем стало ясно, что если от него не избавиться, то уж и во весь вечер никто не прочтёт своего, а всем хотелось повитийствовать. Кое-как от него избавились — и всё пошло как обычно, читали стихи, Реутский, аккомпанируя себе на гитаре, пел небольшим проникновенным голос какие-то жалостливые «приблатнённые» песни, он их помнил во множестве со времён своего тюремного детства. А корон-

ным номером его в тот вечер была чечётка на столе, он редко баловал своих гостей этим истинно артистичным представлением, мне довелось это видеть лишь однажды. В тот же вечер Пакулов мне сказал, что у него нелады с женой и они разводятся. О встрече не договаривались — на следующий день я уезжала на зимнюю сессию в Ленинград.

О Петре Ивановиче Реутском у меня сохранились самые тёплые воспоминания. Небольшого роста («мальчукового», как он сам определял свой рост и размер своей обуви), всегда почему-то с красноватым лицом и потрескавшимися губами, с шапкой густых тёмно-русых волос, в безупречно чистенькой рубашке — он вообще был необыкновенным чистюлей. В квартире его, где не выводились друзья, постоянно тусовалась «стенка», было чисто, как в амбулатории. Однажды он рассказал, как в один из приездов в Иркутск к нему пришёл Е. Евтушенко с женой (видимо, с Галей), и Галя, не принимая никакого участия в их разговоре, принялась мыть посуду. «Я в неё тут же влюбился, вот прямо она гремит посудой на кухне — и ты влюбляешься!» Видимо, все его жёны предпочитали принимать участие в посиделках, а не греметь посудой на кухне. После развода с очередной женой его небольшая на Набережной Ангары квартира (думаю, как и все последующие) была постоянным местом сборищ творческой молодёжи. Хозяин квартиры привлекал талантом, самобытностью, молодечеством. Конечно, гости выпивали и веселились, но главное, спорили и делились впечатлениями о новинках в литературе, читали собственные стихи и стихи тех советских поэтов, которых вдруг стали печатать, обсуждали потоком хлынувшие к нам всякие заграничные новинки, по крупицам разобрали рассказ А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», а позже роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». (Благо, в те времена все читали одно и то же — выбор был не так уж и велик. Я часто по тому, что мы читали, восстанавливаю события своей жизни, как восстанавливал возраст своих детей какой-то чеховский муж — по гастролям в их городе того или иного музыканта.) Словом, квартира Петра Реутского была творческим клубом, где учились друг у друга. Поэтому Пётр Реутский мог с полным основанием напоминать многим из тех, кто добился хоть какого-нибудь успеха в творчестве, — «вы все вылетели из моего рукава!» Знаменитая фраза о гоголевской шинели, из которой вылетели лучшие русские писатели второй половины девятнадцатого века, перефразированная в Иркутске Петром Ивановичем, стала знаменитой, и хоть впоследствии она приобрела несколько иронический и даже ёрнический (особенно в воспроизведении её Геннадием Машкиным) подтекст, в этом утверждении Реутского была большая доля истины).

А вот Реутского-поэта жаль. У меня сложилось очень стойкое убеждение: чем щедрее Господь наделяет человека талантом, тем скупее ответственностью перед ним, и в результате «трудоголики пера», не обладая и сотой долей таланта того же Реутского или Пакулова, высиживали на мягком месте (в том числе и в казённых кабинетах) и титулы и достаток. О Реутском нельзя сказать, что он, как в старину говаривали, вёл «рассеянный» образ жизни, он умел работать, но куча знакомых из разных кругов, от пилотов до артистов, писателей и поэтов разного возраста и достоинства отвлекали его от дела в самые золотые для поэтов годы, чему он, конечно, и сам способствовал — «верховские чаю не пьют!» — квартиру в центре города на Набережной Ангары никак не могли обойти «мимоидущие товарищи-кутилы». Потом, после женитьбы на Галине Ивановне, в другой квартире на улице Карла Маркса, куда мы однажды попали, уже с Глебом Пакуловым, через

какой-то тоннель, всё, говорят, было по-старому. Возможно, это одна из причин, по которой семья приняла решение покинуть Иркутск.

В последние годы жизни Петра Реутского мы встречались очень редко. До его отъезда «поближе к Москве» в Гаврилов-Ям, что многие справедливо считают большой ошибкой, мы как-то встретились с ним в городе. Выглядел он неважно. Пётр Иванович поведал мне о том, что врач определил у него преждевременное старение и что он сейчас думает, как бы ему закончить роман. Он убеждённо сказал: «Роман будет кормить не только меня, но и моих внуков». Я решила, что как многие поэты, Реутский в зрелые годы решил перейти на прозу, но он имел в виду, как теперь понимаю, свой роман в стихах, прочтя который я уверилась — врач поставила верный диагноз. А очень жаль, и хоть в романе есть страницы, достойные Петра Реутского, но разве это идёт в какое-нибудь сравнение с его прежним, всё-таки смею заметить с сожалением, недооценённым творчеством. А умел он многое. Он мог писать упруго, мускулисто.

*Девушка идёт по пляжу
В гамме солнечной метели,
Капли чёртиками пляшут
На её упругом теле.*

Так же написаны многие его поэмы (этот жанр он любил).

*Семь лесорубов —
это семь «я»,
Это как семь чертей.
Хлюпает под ногами земля,
Чёрных ворон черней.*

Какая звукопись!

Помню в его исполнении (а читал он свои стихи прекрасно) поэму о голодном мальчишке, который в тюрьме лепил чапаевского коня из хлеба. (Вообще он часто вспоминал и, конечно, романтизировал своё тюремное детство, и всегда боялся голода. Однажды ни с того ни с сего посоветовал мне — если придется голодать, главное — не двигайся). Нам, детям войны, уже вовеки не забыть очереди, в которых давали «по триста граммов хлеба в руки».

*Как будто из глубин веков
Мне слышен голос:
«Кто последний?»
Стою четырнадцатилетний,
Я старше всех из мужиков.*

Я с большим удовольствием вспоминаю его стихи, написанные в лучших традициях русской классической лирики — прозрачно, чисто, целомудренно, а главное — красиво!

*Что-то всё-таки произошло,
Только вспомню, и кровь моя стынет.
Ты не радость отныне, а зло,
Отзвучавшее эхо в пустыне.*

.....

*Ну и что ж! — повторяю с утра.
В этом слабость моя или сила!
Жаль, что кроме душевных утрат
Ничего мне ты не приносила.
Почему так тепло и красиво
По-над озером звёзды горят?*

Несмотря на определённую начитанность, хорошее знание русской поэзии, Пётр Реутский был поэтом первозданности, а не культуры, что можно считать характерной чертой сибирской и, в частности, иркутской поэзии (А. Горбунов, М. Трофимов).

Прочитав недавно воспоминания Альберта Гурулёва об университетских годах (а мы с ним однокашники, учились на одном факультете, хотя и на разных специальностях: я историк, а он филолог, но все дисциплины общественного плана — историю КПСС и всё другое марксистско-ленинское, как то философию, экономику, логику и пр. — слушали вместе в двадцатой аудитории), мне тоже захотелось (что будет и кстати в год столетия со времени основания нашего «Иргосуна») вспомнить свои студенческие годы. И первые — в Иркутском госуниверситете, и по второму кругу — в Академии Художеств, что оваяны волшебным Ленинградом-Петербургом, с его белыми ночами, которые как раз приходились на летнюю сессию. Ночные прогулки, миражи каналов и мостов, Эрмитаж и Русский музей, где мы проходили практику и где нас пускали и в запасники... Конечно, вспоминаешь и своих учителей, сожалеешь, что не оправдал их надежд. Но всё-таки главное — это сам город. Уже сейчас, побывав в Италии, Испании, Германии, я понимаю, насколько он красив, необычен, этот наш вполне европейский город с русской душой. Город-мираж, несмотря на всю весомость его каменно-чугунного естества.

Ленинград для меня город-праздник, и это несмотря на то, что жили во время сессии скученно и без особых удобств. Интерьеры Академии Художеств, особенно её коридоры, произвели на меня, при поступлении особенно, довольно мрачное впечатление. Как заметил язвительный В. Маяковский (он, как известно, посещал там классы рисования), соавтор комплекса, академик архитектуры А.Ф. Кокорин, обойдя здание после окончания работ, повесился на его чердаке. Это правда, но причины были, конечно, другими.

Всё же думаю, почти всё, что потом мне пригодилось в педагогической работе, я получила в Иркутском госуниверситете. Вспомню, что смогу, о своих учителях.

Я проходила курс историка во времена, когда Иркутский госуниверситет ещё хранил традиции классического образования, что сложились в других университетских городах России. Из Москвы, Петербурга, Омска, Казани волны революции прибили к нам прекрасные кадры. И позже, уже в военное лихолетье, многие учёные из Центральной России и Украины работали в Иркутском университете и тоже оставили свой след. Качество преподавания, да и перечень дисциплин, которые мы изучали, отвечали действительно университетскому уровню образованности. Я спрашиваю сегодняшних историков-студентов: «Вы изучаете старославянский, древнерусский и латынь?» — «А зачем?» — мне отвечают. А мы изучали. Нам внушали, что тексты летописей, переведённые на современный язык, уже не содержат аромата эпохи. Я до сих пор помню, почему «почнеть хотети» звучит не только приятнее для русского слуха, чем экономное и некрасивое «захотеть». Главное — ритм, музыка Слова, в ней и заключена «душа» времени. А куда в науке без латыни? До сих пор в ушах звенит знаменитое «ама-а-арэ-э, ама-а-тис»

бывшего дьякона, преподавателя латыни. Он всё пропевал своим роскошно поставленным басом.

Нас заставляли читать.

Незабвенный Сергей Владимирович Шостакович, энциклопедист, специалист по международному праву и востоковед, вечно куда-то спешил и начинал лекцию ещё в коридоре. Я помню, однажды, рассказывая о протоиндийской культуре, о Махенджо-Даро, он спросил: «Знаете ли вы такую поговорку *Соловья баснями не кормят?* Так вот она оттуда. И мы, похоже, из тех же времён и тех же мест». Сейчас как чьё-то озарение и открытие нам преподносят то, что давно известно. Повторю, он интересовался нашим чтением не только исторической, но и художественной литературы. Однажды, рассказывая о мавританской Испании, он спросил у аудитории, кто читал «Кармен» и чья это повесть. Нас, прочитавших эту новеллу Проспера Мериме, было двое. Сергей Владимирович обещал на экзаменах добавить нам по баллу, и обещание сдержал, нарисовав нам в зачётке плюсы (пятёрки заработали сами). Он снижал оценку по истории Востока (этот курс он блестяще читал!), если мы не процитируем ему хоть один-два стиха китайца Ли Бо или Омара Хайяма, Руми, Хелами. Не один он был такой. Фёдор Александрович Кудрявцев (он вёл источниковедение и историю Сибири) тоже любил спрашивать на экзамене, какую книгу мы сейчас читаем, а потом, хитро прищурившись, интересовался, а сибиряков читаете? Мы знали, что сибиряки — его конёк, и что-нибудь из Уткина, Молчанова-Сибирского, Гольдберга имели в запасе. Он на лекции, бывало, расчувствуется до слёз, читая стихи сибиряков. Фёдор Александрович был основателем хора студентов-историков, продиктовал нам тексты и сам напел мелодию старых студенческих гимнов, начиная, конечно, с «Гаудеамуса». Мы пели на вечерах и студенческих застольях о том, как пошёл купаться Веверлей и что из этого вышло, пели гимн русских студентов Гейдельбергского университета «Наша жизнь коротка», где предлагалось выпить не только за великий народ и великую Русь — нашу Родину-мать, и, в угоду времени, мы, как и в своё время студенты землячеств Гейдельбергского и Дерптского (Тартуского) университетов, пили за того, кто «Что делать?» писал, а также за того, «кто писал «Капитал» и за друга его, что ему помогал». Светлая память Фёдору Александровичу Кудрявцеву! Археологию вёл у нас И.В. Арембовский, последний из учеников знаменитого антрополога и археолога И.В. Петри. Больной, прошедший войну, совершенно глухой, и потрясающе красивый, он преподносил археологию и все её, особенно сибирские, проблемы как сказку. Мы хоронили его в нашу первую сессию, в январе. Свой раздел курса он дочитал, а экзамены мы сдавали уже ПЭПЭХА. Павел Павлович Хороших (кстати, дядя Арембовского) запомнился тем, что на экзамене непременно привставал и пожимал руки получившим пятёрку. А мы почти все её получили — И.В. Арембовского слушали, затаив дыхание. Доктор экономики И.Н. Трегубов наизусть знал всего Пушкина, цитировал его по всякому поводу, утверждая, что нет ничего на свете важного, о чём бы Александр Сергеевич не написал. Сейчас-то я это точно знаю. Кстати, знаменитое пушкинское «история принадлежит поэту», которое я впервые услышала из уст И.Н. Трегубова, является для меня на всю жизнь непререкаемой истиной. Из семинара «Французская революция» (запомновала фамилию преподавателя, кажется, это был Б.Л. Вульфсон) мы с ужасом узнали, что все эти народные защитнички, Мараты и Робеспьеры, так чтимые советской властью, в ангелы, мягко говоря, не годятся, и очень боялись за него — кому не известно, что в каждой группе были вольные и невольные

доносители. К тому же окна нашего института благородных девиц, где уместались все университетские факультеты, выходили на сад Парижской Коммуны, что внушало дополнительный трепет перед всей этой французской катавасией. И с какими французскими церемониями этот профессор, помню, извинялся перед опоздавшими за то, что осмелился без них лекцию начать.

А как не вспомнить Михаила Алексеевича Гудошникова, от общения с которым я твёрдо уверовала: ничто так не может воссоздать эпоху, почувствовать её аромат, как *Слово!* М.А. Гудошников был замечательным знатоком русской монастырской культуры, истории и литературы древней Руси и петровской России. Будучи уже в преклонных летах, рассказывая о Петре Великом (произносил это имя как-то уменьшительно — *Пётрих Пёрвьий*), Михаил Алексеевич на память воспроизводил многие его указы, так естественно и мило цитировал иные петровские тексты с непечатными по нынешним временам словами! И вообще, было впечатление, что он и сам оттуда и близко всех знал.

Всегда жалела, что нашему курсу не повезло — доктор богословия и советский профессор, преподаватель философии, логики и психологии Михаил Васильевич Одинцов вышел к тому времени на пенсию. А вот мой папа, закончивший университет по геологическому факультету вместе с М.М. Одинцовым и Н.А. Флоренсовым в 1936 году, его слушал и много интересного о нём рассказывал! Например, как студенты (вчерашние рабфаковцы) на семинаре М.В. Одинцова по эстетическим взглядам Леонардо да Винчи упорно называли его «Леонард Давыдыч». Ввиду ухода М.В. Одинцова прекратился в университете набор на отделение «Логика и психология».

Не припомню ни имени, ни фамилии искусствоведа, которая один семестр читала курс истории русского искусства (мы знали, она была москвичкой и совсем не надолго приехала в Иркутск вместе с мужем офицером), но именно эту встречу считаю судьбоносной. Я и раньше ходила в художественный музей, но после её лекций стала ходить ещё чаще, и попала на глаза Лидии Григорьевне Пуховской, которая в те времена была, и не только в вопросах найма на работу, едва ли не важнее самого Алексея Дементьевича Фатьянова (Фатьянов был женат на её тётке). И я уже знала, что после окончания университета пойду работать в музей.

Как давно это было!.. Это было тогда, когда по дороге в университет и обратно часть улицы Карла Маркса от улицы Ленина до сада Парижской Коммуны мы шли по тёплым, милым деревянным чурбашикам. После одного из обычных — до постройки Иркутской плотины — наводнений Ангара разлилась до улицы Ленина, листовенничная брусчатка вспучилась шубой, и этот участок Большой улицы закатали в асфальт.

Гуманитарные факультеты занимались во вторую смену, с трёх часов. Ко времени, когда лекции и семинары заканчивались, начинались спектакли в драматическом театре — ни одна премьера не обходилась без нас! Во имя этого можно было и с последней пары сбежать! Я помню «Овод», «Приваловские миллионы», «Баню» («Баню» ещё и потому, что на премьере вдруг рухнули какие-то супрематические конструкции из досок и реек, но всё обошлось благополучно). Обязательно старались увидеть спектакли, где играла супружеская пара Серебряков — Александрова.

Сейчас общаюсь с музыкой, в основном, по каналу «Культура». В университетские «баснословные года» мы слушали в филармонии С. Лемешева, Пантофиль-Нечецкую, М. Максакову (её, кажется, чуть позже), Александровича,

пианистов и скрипачей, Рихтера и Нейгауза. Привычка ходить в филармонию, заложенная в университетские годы в Иркутске, пригодилась в Ленинграде, где мы с академической подружкой из Севастополя, Людмилой Бойко, старались не пропустить ни одной премьеры филармонического оркестра с Е. Мравинским, доставали билеты и на концерты фон Карояна, и на всех заезжих из Москвы и заграницы знаменитостей — Г. Вишневскую, Е. Образцову, Т. Милашкину, В. Атлантова, С. Ростроповича, Ойстрахов (отца и сына) и многих-многих других. Про балет уж и не говорю, мы смотрели всё, в том числе и выпускные спектакли вагановского училища, и я с удовольствием потом в звёздах русского балета узнавала выпускников-вагановцев. Сейчас все они уже давно на пенсии! Грустно, но и отраднo, что воспоминания о встречах с прекрасным никогда не девальвируются!

Много нашего студенческого народа жило в общежитии на улице 25 Октября, и мы, горожане, знали, что живут там весело, хотя, может быть, и менее сытно, чем мы. Многие жили только на стипендию в двадцать два рубля, питались в складчину, кладя в общую копилку по 15 рублей в месяц. Всех нас, а особенно общежитских, спасал бесплатный хлеб на столах университетской столовой: пока подходила очередь за тридцатикопеечным обедом, мы вволю наедались очень вкусным хлебом с горчицей и солью.

Наши немногочисленные гуманитарные мальчики, честно говоря, особым успехом у девочек-историков не пользовались. А зря, многих проглядели! Но в фаворе были парни из ИВАТУ и «горняки». После свадьбы с иватушником три-четыре девочки обязательно обретали себе женихов, и в результате такой цепной реакции ко времени окончания университета большинство становились замужними. А «горняков» любили за красивую форму: как приятно было, вальсируя, положить руку на их мужественное плечо и ощутить под рукой бархатистый орнамент их погон! Но горняки предпочитали почему-то медичек!

После окончания третьего курса Академии Художеств, на шестом году моей работы в Художественном музее, для меня наступили тяжёлые годы. Не знаю толком, что послужило причиной тяжёлой депрессии, о которой не очень хочется вспоминать. Наследственный фактор нельзя исключить — многие в нашей семье расплатились за беспорядок с нервами, которые нам достались в наследство от деда-грузина (самое обидное, что мы его, кроме мамы, в глаза не видели). Депрессией страдала мама, а моя тётя, мамина сестра, с нею так и не справилась. Музей пришлось оставить — я уехала в посёлок Мама, где мама моя с отчимом, тоже геологом, тогда работали. Пребывание в этом геологическом посёлке связано у меня с воспоминаниями о концерте, данном студентами третьего курса шукинско-го театрального училища. Запомнился красивый пластический этюд с зонтиком Сергея Райкина и Наталья Гундарева, которую забыть просто нельзя. Когда она вышла на сцену, зал загудел — настолько её облик не соответствовал понятию «артистка». Полная, квадратная, без всяких намёков на талию, в мини-юбке, не с лучшими в мире полноватыми «ножницами»-ногами, Гундарева с явным вызовом осмотрела зал, подождала, когда он успокоится и начала читать монолог Лушки из «Поднятой целины» М. Шолохова... Говорят, что у комнаты гостиницы, где она проживала, был приставлен милиционер — от мужчин не было отбою.

А музей я вспоминаю часто. Кроме Лидии Григорьевны Пуховской, работал со мной Альберт Григорьевич Костеневич, которого увезла в Ленинград приехавшая из Эрмитажа с выставкой голландской живописи XVIII века Надежда Петрусевич — сейчас он старший научный сотрудник Эрмитажа, доктор искусствоведения. Работала со

мною будущая жена В. Преловского Виктория Балышева. Получали мы (старшие научные сотрудники) по 55 рублей, экскурсоводы по 50 рублей. А директор музея Алексей Дементьевич Фатьянов аж 64 рубля! (К слову сказать, эрмитажные сотрудники получали почти столько же.) Культура и тогда содержалась по остаточному принципу, но не в пример нынешнему времени, зарплата управленцев не очень отличалась от нашей. Однажды, ожидая А.Д. Фатьянова, женщина из управления культуры (не помню её фамилию, знаю, что она курировала музей), не теряя времени, вынула из сумочки недошитую, ситчик в горошек, блузку, иголку и нитку. Вскоре мы увидели её в этой обновке.

И что удивительно, спрос на нас был большой, а мы были энтузиастами: по годовому плану без всякой дополнительной оплаты каждый сотрудник музея должен был проводить по клубам, школам и всяким заводам до ста бесед и лекций о художниках! Вообще, лучшего места для профессионального роста, чем музей, просто быть не может. Вот отчего там работают десятилетиями, несмотря ни на что: на мизерную зарплату, на утомительность и надоедливых этих поточных, на одну тему по сто раз в году, лекций, а особенно экскурсий по постоянной музейной экспозиции. Огорчала и невозможность всерьёз заняться исследовательской творческой работой. А зато — ежедневно встречи с художниками, с писателями, с приезжающими знаменитостями, персональные выставки местных, столичных и даже зарубежных художников, выставки из столичных музеев. Всё это навсегда осталось в музейном периоде моей жизни.

С Пакуловым (я сразу же, как узнала его законное имя, стала звать Глебом, а за мной и все остальные), вяло перекинувшись несколькими письмами, вскоре потеряли друг друга, да, честно говоря, для меня многое тогда потеряло всякий смысл, и Глеб, похоже, тоже испугался моего состояния. Я иногда от общих знакомых слыхивала кое-что о его разводе, связях, шатаниях-болтаниях, сама потихоньку стала отходить, в музей идти мне уже не хотелось, и я поступила работать в педагогический институт, о чём никогда не пожалела. Меня сразу нацелили на научную работу — я решила исследовать художественную жизнь Восточной Сибири в революционные и постреволюционные годы. Работа в архивах Иркутска, Читы, Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска, Омска, Москвы и Ленинграда заняла годы, и, забегая вперёд, скажу, что уже с готовой работой лет семь я ездила в столицы дважды в год — негде было в то время, да и сейчас, защищать диссертации по изобразительному искусству. Наконец, мне повезло. В 1979 году специально для защиты диссертации одного чеха, который исследовал русский натюрморт XIX века, открыли в Московском педагогическом институте им. Герцена при кафедре искусствоведения Совет по защите кандидатских диссертаций по живописи и методике её преподавания. В Совет вошли все светила тогдашнего искусствознания. Чеху не повезло — академик М. Алпатов, председатель Совета и самая большая величина в те годы по истории русского искусства, решил, что чех смотрит на русский натюрморт западными глазами и ничего в нём не понял. Я защитилась единогласно.

Глеб внедрялся в мою жизнь как-то незаметно, появлялся время от времени. Однажды, по приезде из Египта, я обнаружила дома старинную чугунную пишущую машинку, явно списанную в какой-то конторе, — в своих долгих бездомных скитаниях он оставлял свой скарб, где придётся. Машинка до его приезда из геологической партии на зимнюю камералку в Иркутск стояла в моей комнате. Захаживал частенько в моё отсутствие. Бывало, я прихожу с работы, а дома меня встречает пьяненький папа и объясняет: «глебнули по маленькой». После скоро-

постижной смерти второго мужа мамы (с папой они уже давно не жили), осенью 1968 года она вышла на пенсию и приехала в Иркутск. Однажды (помню — это было в октябре) меня провожал домой мой старинный, приехавший из Киева, знакомый. Мы сидели с ним на скамейке напротив кухонного окна нашей квартиры, и в окне я увидела Глеба. Он чаёвничал с родителями. Как я ни растягивала свидание с киевским приятелем, Глеб, похоже, решил меня дожидаться. Встретились, поговорили о том о сём, я его проводила. Потом он мне рассказал, что идти ему было некуда и он попросился переночевать к дежурному в «Молодёжке», спал в каком-то бумажном мешке из-под книг. Вскоре мы встретились с ним на Большой улице, серьёзно поговорили у медных поручней почтамта и пришли домой вместе.

Семейка у нас, прямо скажем, была странная. В трёхкомнатной небольшой квартирке в комнате в 10 квадратов жил папа со своей женой Машей. Маша решила, что родители мои после приезда мамы сойдутся и ушла жить к подруге, но мама её вернула. Самой же маме пришлось жить в одной комнате (она считалась у нас большой, аж целых шестнадцать метров) с племянником, сыном покойной сестры Нины, студентом политехнического института, а мы с Глебом поселились в третьей десятиметровой комнатке. Помню, вскоре к нам пришла одна из бывших претенденток на Глеба и, уходя, сказала мне: «Я предлагала ему получше условия. Не уверена, что здесь он долго продержится». Но, худо-бедно, мы прожили с Глебом сорок два года, и из них целых восемь лет в нашей маленькой комнатке на улице Лыткина, дом № 73.

Не только бытовые причины осложняли наши отношения в первые годы совместного проживания. Я старалась быть по возможности терпеливой к его невыносимым для меня привычкам, которые он нахватал в силу нескладности и вообще совсем другого опыта его жизни. Притереться друг к другу нам помог дом в Порту Байкал. До этого мы с мамой и Глебом ездили по железной дороге, высматривали себе что-нибудь подходящее и чуть было не купили половину дома по железнодорожной ветке в районе Большого Луга — другую половину этого длинного барака занимала семья В.И. Трушкина. Вскоре мы узнали, что жена В.И. Трушкина погибла, попав под поезд. Как-то летом 1970 года пришла ко мне приятельница и рассказала, что она провела хорошие деньки с другом в большом пустующем доме в Порту Байкал и что дом продаётся. Хозяева его жили в Ангарске, найти их было просто, и мы приехали с хозяйкой дома на место. Мысль о покупке чего-то другого у нас тут же улетучилась: хоть и не ближний путь до Порты Байкал, но красота кругом, а сам дом из могучего лиственника, большой, просторный! Мама, а, естественно, лишь она и была кредитоспособной на то время, не торговалась, дома в ту пору были дешевы — с ликвидацией Кругобайкальской ветки Транссиба люди, не имея работы, покидали Порт. Хлопот, конечно, было много: Глеб разбирал ненужные стайки, засыпал старинные погреба, подправил баню, мы с мамой успели кое-что посадить в огороде, занялись побелкой дома, покраской внутренних перегородок, красивых резных дверей с медными ручками и резными десюдепортами (фр. — «над дверью») с мотивами солнца. Вообще, в доме оказалось много необыкновенного: чугунная каслинского литья печная дверца с рельефом рога изобилия, прелестная дверца для поддувала — крестьянин в лапоточках везёт барыню, красивые металлические отдушники с пружинами, вделанные в толстые плахи пола медные ручки подвалов (их было в доме два). На веранде стоял самовар, почти ведёрный, с большим подносом, постоянный спутник всех наших посиделок, а в большой кладовой мы обнаружили ещё самовары, в том числе один с монограммой баронессы Корф, и др.

Дом построен в 1937 году из местной лиственницы, которую, как рассказывала дочь хозяина Валентина, после заготовки отец сушил несколько лет. Дом стоял очень красиво, на взгорке, со стороны он казался летящим. Меня всегда поражали окна дома — идеальных пропорций проёмы, с богатым кокошником, с причелинами тончайшей резьбы и поддонами с редким мотивом рыбы. (Этот мотив, возможно, связан с бурятской культурой, ведь отделкой дома занимался какой-то мастеровитый бурят: уходя на работу в порт, хозяин дома Потылицын брал с собой доску и вечером приносил домой резной карниз. Но, возможно, мотив связан и с христианской культурой, ведь рыба — символ Христа.)

Глеб, конечно, почти в первый же день вселения в дом схватил все свои снасти (коробка со снастями — единственное, что он сберёг от прошлой жизни) и побежал на Ангару рыбачить. Но, оказалось, рыбалка здесь с большим секретом — у него и мушки не те, и на червей здесь не во всякий день что-либо нарыбачишь. Рыбалка в основном донная, а не верховая, и делать для неё настрой большое искусство. Но постепенно здешние рыбаки рассекретили, как надо располагать на настрое дробины, и кое-что другое поведали Глебу в посиделках под водочку на ангарском берегу, и Глеб, имея опыт рыбной ловли на Амуре, в реках и озёрах Прибайкалья и Забайкалья, вскоре стал лидером-рыболовом. «Облавливат» — говорили местные рыбаки. И правда. Однажды на Троицу Глеб поймал столько рыбы, что идя вверх к нашему дому по распадку, повесил на калитки всех обитаемых домов по связке «харюсков». Пришлось смирять рыбачий раж, да и мама ругалась (зачем лишнее?). Помню, как Глеб, по прошествии приблизительно пяти лет со дня нашего приезда в Порт Байкал, однажды сказал маме: «Ольга Евстафьевна! Радость эта ненадолго — будете ещё вспоминать эту рыбку!»

Кроме рыбы, были там и другие радости. Грибов было немерено — подосиновики, подберёзовики, опята, свинушки, чёрные грузди росли недалеко от дома, с потеплением появились во множестве белые грибы. Зайцы зимой протапывали настоящие дороги уже в двухстах метрах от дома. Глеб, вместе с потерей во время своего холостяцкого бездомья ружья царских времён, доставшегося ему от отца, совсем охладел к охоте, да и раньше охотился в основном по нужде — во время войны мальчишкой и в геологических партиях, когда было туго с провизией. Ставить петли считал нечестным. Так что зайца мы ели лишь однажды на Новый 1974 год — его нам принесла и положила на крыльцо наша собака Дик. Наш дом крайний в распадке, а потому к нам навевывались и медведи — один из них задрал телёнка у соседей. Однажды нам пришлось вернуться из похода за смородиной, что росла недалеко от дома по ручью — навстречу нам бежали женщины: «Не даёт ягодку Миша, ругатся!» Позднее отстроил усадьбу и поселился рядом с нами охотовед В.И. Носырев и, несмотря на то, что медведи не трогали людей, решил открыть на них настоящую охоту, не пожалел даже медведицу. Местные жители заставили его отвезти в город медвежат, которых он содержал в вольере, но все знали, что с малышами стало. Забегая вперёд скажу, что этот сосед заставил меня вспомнить украинскую пословицу: «Нэ купуй хату, купуй сусида». И навсегда невзлюбить охоту и охотоведов.

Глеб иногда винил себя в том, что стал родоначальником нашествия на Порт Байкал дачников. Но как могли повлиять писатели, художники, среди которых вроде и не было охотников, на всю экосистему округи?

П.И. Бирюков, друг и биограф Л.Н.Толстого, в одном из писем к писателю попросил его написать свою биографию. В ответном письме Л.Н. Толстого я на-

шла строки, созвучные своим мыслям по поводу воспоминаний вообще. «Я попробовал думать об этом, — пишет Л.Н. Толстой, — и увидел, какая страшная трудность избежать Харибды самовосхваления (посредством умолчания дурного) и Сциллы цинической откровенности о всей мерзости и глупости своей жизни». В силу законов жанра я, вспоминая прошлое, неизбежно передаю своё личное восприятие людей и событий, своё собственное к ним отношение. Наполненность и масштабы «глупостей и мерзостей» у тех, кого я вспоминаю (в моём, конечно, измерении), вряд ли совпадают с толстовскими, они у каждого свои — «Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний?»... Постараюсь честно касаться лишь тех из них, что сказались на творчестве и судьбе того же Пакулова. Опыт не просто откровенных воспоминаний, а «запредельно откровенных», по определению безвременно ушедшего от нас писателя Владимира Карнаухова, у меня уже есть («Тот вечер и та ночь» // Сибирь. 2007. № 3). У меня по-другому, видимо, не получится, тем более, что факты жизни, например, громкоживущего Глеба Пакулова, как правило, всем известны, однако внутренние пружины многих его поступков я, возможно, лучше знаю и чувствую.

Я сразу поняла, все мои упования на тихую жизнь, на возможность видеть Пакулова, наконец, за письменным столом — пустое. В первый же свой приезд в Иркутск он приглашал кучу народа. В то время, не то что в нынешнее, даже хлеб приходилось привозить из Иркутска. А гости, за редким исключением (Вампиловы, москвичи Вороновы) привозили только водку. Выручала рыба.

Ох, сколько «всяких и невсяких» у нас гостили, иногда и подолгу, уже не припомню. Иногда я чувствую себя виноватой перед мамой, которая большую часть своей «дачной» жизни простояла за плитой.

Толком и не знаю, кто из писателей когда приезжал, а потому буду писать о людях, которые запомнились, а ещё о животных — какой смысл жить в деревне, в посёлке (а к тому времени от густонаселённого рабочего Порты Байкал осталось лишь название), в котором не мычит корова, не поют петухи, не лают собаки, не придёт лошадь и не положит свою большую красивую голову на штaketник ограды, ожидая от тебя куска хлеба с солью? Всё это ещё было. Мы уехали с Молчановской пади тогда, когда из всей этой живности остались лишь собаки.

Осенью 1970 году мы с мамой впервые познакомилась с тогда уже знаменитым и самым благополучным писателем Геннадием Машкиным. «Звезда Востока», как звала его тётка Валерия Стукова, шумной компанией ввалился к нам под вечер в сопровождении В. Стукова (они тогда были «не разлей вода»), Геннадия Кинжалова и Владимира Удатова. Ещё до покупки байкальского дома мы с Глебом у себя в городской квартире не раз встречали писателей, и, учитывая мой опыт знакомства с ними у Петра Реутского, я, честно говоря, уже никакого трепета перед ними не испытывала. Из писателей (страшно подумать, из них лишь Саня остался в памяти молодым!) сразу же я выделила и, думаю, по-особому привечала (как потом и мама) Валентина Распутина, он и в молодости просто источал какую-то основательную и, как мне казалось, густую и тяжеловатую ауру. Это впечатление, бывало, улетучивалось, когда он в компании, чуть подвыпив, рассказывал сочинённую или достоверную, но всегда по-писательски расцвеченную историю своих или приятельских походов. Но уже тогда я заметила за ним одну странность — я не припомню его откровенно, «во весь рот», смеющимся (это роднило его с Вампиловым). Эмоции его, что называется, «были под контролем». Приметила я за ним и такое: в застолье, вдруг, на голом месте, он засмеётся и так откоро-

венно, по-детски. Понятно, о чём-то своём. Уже в те годы часто в компании ему было скучно и одиноко. Он научился пить в одиночестве. Парни рассказывали: в начале семидесятых гуртом ходили в кафе, что располагалось в деревянном доме на набережной, напротив памятника Гагарину. Захаживал туда, когда накатывало, и Валентин Распутин, кивал им, подходил к стойке, брал неполный стакан коньяка, выпивал, не закусывая, и молча удалялся.

Но это отступление. О Распутине, если получится, разговор впереди. А пока о Геннадии Николаевиче Машкине. Я знаю двух (а может быть, и трёх) Машкиных, так не похожих один на другого. Общее у них — лишь постоянное наличие желчи, правда, в разных кондициях. Я знавала Машкина в добром здравии и Машкина в подпитии, хотя в этом промежуточном состоянии он был вполне терпим и даже интересен. (Ловлю себя на том, что то же самое я могла бы сказать и о своём муже.) В первый же вечер знакомства, когда была выпита вся авоська с водкой, привезённая гостями, вмняемым остался лишь Стуков (он всегда пил аккуратно), Кинжалов с Удатовым куда-то тихо улеглись, а вот Машкина мы увидели во всей красе. Но, Машкин есть Машкин, он проспится и станет многознающим, интересным собеседником. Он был малоприспособленным для таёжной жизни, но как геолог-теоретик был грамотным. Именно поэтому Геннадий Николаевич был интересен геологам маме и Глебу, и в нашем байкальском доме бывал не единожды. Наутро было забавно узнать, что совсем недавно Машкин на дух не переносил спиртного, и Глебу, который приезжал к отцу Машкина «дяде Коле» в Селиваниху порыбачить, приходилось прятать бутылку, иначе она будет вылита в Иркут.

Мне приходилось читать в воспоминаниях Бориса Лапина и кое от кого слышать о том, что привезённая из геологической партии и представленная читинскому семинару повесть Машкина «Синее море, белый пароход» была настолько несовершенной, что её пришлось править чуть ли не всей «стенкой». Действительно, что-то наши филологи правили, не без того. Но мне всё это напоминает шолоховскую историю — а кто писал за Машкина «Арку», «Вечную мерзлоту» или повесть «Егор, сын охотника»? Эти повести надо отнести к достижениям сибирской прозы. Конечно, Машкин отомстил за эти разговоры. Он написал язвительный «Вальс монашки», где многим досталось, но более всего Ю. Самсонову, предлагавшему, говорят, Машкину соавторство. Он там фигурирует под образом Самсона Лошадьева.

Среди друзей-приятелей, писателей, близких и по творчеству, и по веселью, бродило много побасенок о некоторой прижимистости Геннадия Николаевича. Говорят, однажды собралась вся братия что-то отпраздновать «вскладчину» на заливе Иркутского моря. «Эпса (он почему-то так звал свою жену Эмму Ивановну) дала мне трояк, вот вам, — и вынул из кармана немислимую для тех времён бумажку... В. Стуков утверждает — 100 рублей. Машкин побледнел, а Глеб Пакулов торжественно произнёс: «Мы все, Гена, знаем, что ты щедрой души человек!» Денежки, конечно, плакали, компания вволю повеселилась. Моей маме однажды пришлось остаться с детьми Машкина, Наташей и Максимом. Привычка давать всем прозвища не обошла и его детей. Он звал их «шонные» или «мои шонные». Дело в том, что как-то утром он позвал детей завтракать, и сонная Наташа сказала ему: «Папа, не приставай! Мы ещё шонные». Уезжая в город по делам, он оставил своих «шонных» моей маме на два дня, дал на прощание им своё любимое напутствие «Будьте аккуратистами и интересантами» и укатил недели на две...

Конечно, бережливым Машкина сделало тяжёлое военное и послевоенное

детство. Даже после войны Машкин со своим братом Юрой зарабатывали на хлеб продажей прищепок для белья — сами выстругивали деревянные части, гнули проволоку. И обидно, что во времена реформы всё, что он заработал совсем нелёгким писательским трудом, превратилось в пыль. Трудиться за письменным столом он умел и, как это ни парадоксально звучит, очень хорошо, что Геннадий Николаевич был «запойным», следовательно, у него были и абсолютно трезвые, плодотворные рабочие дни, и даже недели (я всегда ставила его в пример Пакулову, у которого вообще никакой системы не было). В девяностые годы, особенно после смерти жены Эммы Ивановны, Машкин, похоже, совсем потерялся, дети жили отдельно, из квартиры не выводились пьянчужки, допился до того, что чуть не сгорел. Здоровье его сильно пошатнулось после падения — он сломал шейку бедра, что и спровоцировало рак, так рано сведший его в могилу. Но... мы забегали чуть-чуть вперёд. А тогда Глеб решил его спасти — познакомил с нашей соседкой, прекрасной женщиной Людмилой Терентьевной Рондик. Она не только скрасила его быт, она продлила ему жизнь. Царствие им Небесное! В тяжёлые девяностые, чаще осенью, Машкин с Людмилой Терентьевной приезжали к нам в Солнечный, мы варили, по определению Машкина, «пороховенький супок» (от чего он производил это слово: то ли от того, что содержимое пакетика быстро варилось, то ли от того, что оно было порошкообразным, не знаю). Похлебав супчика, все садились в нашу «Сарепту», переплывали Чертугеевский залив, высаживались на овощное поле сельхозинститута и подбирали то, что оставили нам студенты, — зелёные листья капусты, морковь. Листья обмывали в ванной, затем солили с морковкой.

Всяким вспоминается Машкин. Он иногда привозил с собой интересных людей из Москвы. Однажды он заявился вместе с Георгием Ивановичем Куницыным. Об этом узнал Сергей Иоффе и ещё кто-то — пришли послушать человека, который, вращаясь в правительственных кругах, много чего знал интересного. Не тут-то было! Весь вечер «на манеже» был Машкин, он воспроизвёл весь свой репертуар, начиная с «ок-ок, казачок» — это о Реутском, потом опять о нём — как он шашечкой (тук-тук-тук!) разрубил однажды свою жену Галину Алексеевну пополам и хорошо сделал: с тех пор она стала приносить домой две зарплаты. Язвительный Геннадий Николаевич намекал на то, что жена «сухенького бандита» (это тоже поэт Реутский) работала на двух работах. Когда кончились байки о Реутском, решил позубоскалить над другими — у него для многих были заготовлены прозвища, занятные, часто не очень добрые истории. Особенно доставалось талантливым. Серёже Иоффе это надоело, он решил уходить и на крыльце, прощаясь, сказал мне: ну вот, пришёл послушать умного человека, а слушал двадцать первый раз машкинские байки. (Откуда этот «сухенький бандит»? Да всё оттуда же, откуда и вампиловская «сумочка к ребру» — из писем графоманов в «Молодёжку». Точно не помню, но кто-то написал историю о ночном разбойнике, который напал на поэта, наслушался его стихов и... «сухенький бандит так и оцепенел». Что-то в этом роде. Прозвище не шло Реутскому — поэт был крепенького и ладного телосложения, ведь он некоторое время даже выступал в цирке.)

Геннадий Николаевич часто производил впечатление зачарованного. Однажды утром на даче он ходил по комнате, не переставая пел какую-то китайскую людоедскую песню, из которой знал лишь четыре строчки. Пел, растягивая последнюю букву:

*Мина — чугунный арбуз-з-з,
Мину в землю зарой-й-й —
Костей человеческих груз-з-з
В небо взлетает горой-й-й.*

Пел, пока не остановили. Любимой его похвалой тоже было что-то из китайского: «Ты, Мяо, хороший член кооператива!» При этом была важна интонация.

В те времена писатели часто ездили в командировки. Из командировок Глеб привозил разные истории: многие из них происходили в разное время и в разных местах, у меня в мозгу они давно перемешались, иные превратились в байки — важно, что они передают дух их молодого, творческого, часто авантюрного дружба и дух времени. Однажды хорошей компанией они были где-то на севере Иркутской области. Читали каждый своё — Филиппов и Пакулов — стихи, Машкин что-то из своей геологической прозы, профессор Богач, естественно, о Пушкине в Молдавии. В обеденный перерыв пошли в столовую, Машкин и Пакулов встали вместе с рабочими порта к раздаче, отгороженной от кухни металлическими перилами. Кто-то из рабочих пронесит мимо стойки на подносе полную тарелку супа, он плещет через край, и Машкин, вперив в тарелку ничего не видящие глаза, произносит: «Позвольте всхлебнуть!» Помог опомниться парню Глеб: «Не обращай внимания. Он стихи читает». Хорошо же выглядела вся эта писательская братия, если стоявший за Глебом мужик, явно из бывших эзков, спросил, указывая на Филиппова: «А этот, длинный, кто?» «Мой телохранитель», — ответил Глеб. «А-а. А рядом с ним кто?» — «Профессор». Мужик с одобрением произнёс: «Хорошая кличка — «Профессор»».

Глеб и самодеятельный композитор Валерий Стуков (автор и исполнитель песен на стихи русских, советских и сибирских поэтов, был украшением этих поэтических концертов) рассказывали: однажды у них был, как говорят артисты, чёс по железной дороге. По окончании концерта на одной из станций они по связи договорились о концерте на другой, перечислили организатору всех его участников, в конце списка назвали Удатова. На другом конце линии решили, что будут удавы, что и было объявлено в афише.

Размышляя о Машкине-писателе, можно с сожалением сказать, что писательское время у него было длинным, а плодотворное, творческое — коротким. Не считая пришедшейся ко времени, прошумевшей и в некотором роде прославившей его повести «Синее мое, белый пароход», самые большие его художественные достижения укладываются в сборник повестей «Егор — сын охотника». Ему давались рассказы о том, что он хорошо знал. И зря, как мне кажется, он взялся за довольно объёмные вещи, которые он называл романами. Да дело и не в определении жанра, к тому времени уже никто не заботился о его чистоте. «Дальняя тайга» или «Выстрел из кембрия» интересны как повествование о действительных фактах, связанных с поиском золота или нефти, что он, как очевидец и геолог, хорошо знал, но вряд ли это «романы», как ты их ни называй, роман-хроника или как-нибудь ещё, не получилось у позднего Машкина стать «сочинителем» характеров, психологом, способным проникнуть в логику поступков своих героев, да мало ли чего ещё надо «романисту», например, суметь сохранить до последней страницы запал, энергетику повествования. Всё, что не касается просто фактов в этих произведениях, вяло и вымученно, и если нет интереса к теме, вряд ли появится желание прочесть книгу до конца. Но как живая история, описанная не только свидетелем, но и участником поисков в Сибири полезных ископаемых, эти книги, вероятно, будут жить.

Не скажу, чтобы Глеб, а я в особенности, испытывали к Машкину какое-то особое тёплое чувство, и сам он, по-моему, мало кого любил. Да и нездоровье не улучшает характер и не вызывает прежнего желания общаться. В последние годы он чаще принимал гостей у себя дома, Людмила Терентьевна заботилась об этом. Мы с Глебом видели его в последний раз в больнице.

Все уже ушли, и каждый, кого очень любил и кого не очень, унёс с собой что-то единственное, унёс частичку тебя самого. Царствие им Небесное!

Глеб, хоть и не сразу после покупки дома на Байкале, решил взяться за что-нибудь более солидное, чем небольшая по размеру повесть «Ведьмин ключ», изданная в 1970 году журналом «Ангара», детские повести «Горнист Чапая» и «Девочка Лея», «Тиара скифского царя», вышедшие отдельными книжками. Он решил, что это будет историческая повесть или роман. Я советовала ему закончить поэму «Поле Куликово», пролог к которой, напечатанный в 1964 году в подборке «Бригада», неоднократно издавался как самостоятельное стихотворение. Продолжать поэму он не стал — Блока не переплюнешь. Он решил писать о том, что ему неоднократно снилось. А сны были из истории — это разные вариации одного сюжета: он видел сражение на плоской (что с историей архитектуры древней Греции не согласуется) крыше большого античного храма, где русские совместно со скифами, вооружённые только короткими мечами-акинаками, после долгого боя всё-таки сбросили с крыши греков. Глеб утверждал, что это были они, все его знания по античности и хрестоматийные картинки из древней истории выдавали греков-воинов. И сам он был воином, а после окончания схватки становился ногой на акротерий (это такое украшение на углах античных храмов), отталкивался от него и долго летал над местом боя — он летал во сне всю жизнь. (Летал во сне и Валентин Распутин, что он и описывает в повести «Наташа», там он летал над крышей нашего байкальского дома.) Глеб, как и Блок, был уверен (и это, похоже, правда), что мы со скифами ближайшая родня. Придумать сюжет ему большого труда не составляло, а вот одеть всё это живой плотью — одной фантазией не обойдёшься — пришлось много читать. Помню, сборы были долгими. Белую бумагу он очень не любил, и кто-то, кажется Сергей Иоффе, дал ему толстую стопку сероватой, мягкой и тёплой по тону бумаги, которую он сшивал, нашёл кусок синего дерматина и сделал обложку. Вот за таким занятием его однажды застал Александр Вампилов. Передняя нашего байкальского дома делилась на два пространства только печью, а потому их разговор я в общих чертах могу воспроизвести. Вампилов спросил Глеба, для чего он приготовил такую толстую тетрадь, не иначе задумал написать роман века. «Это будет повесть или роман, как получится, о началах русского века, мне интересно знать корни, истоки — «откуда есть пошла Русская земля». «А кому это ещё будет интересно? Какие корни? Давным-давно сгнили эти корни, опять начнёшь фантазировать насчёт всяких скифских тиар? Кончай ты с этой историей».

Роман Глеба Пакулова «Варвары» выходил солидными тиражами дважды в Иркутске и трижды в Москве (в лихие девяностые годы два раза так называемым контрафактом).

Конечно, творческие устремления у них начисто не совпадали. Вампилов во все не приветствовал историко-романтические пристрастия Пакулова. Он не признавал того, что, как писал С. Зотов в журнале «Наш современник» (2006. № 7) по поводу пакуловской «Гари», сегодняшние вопросы можно ставить на любом, в том числе и на историческом материале, «так как ничего не меняется в характере

человека и сильные характеры всегда прекрасны». Его не интересовала русская история вообще и история как литературная тема в частности, в этом смысле Вампилов не «почвенник». Глеб знал и чувствовал Вампилова, а главное, любил его, поэтому никогда не объяснял такую творческую позицию Вампилова его «нерусскостью», хоть и были к тому случаи. Однажды в весёлой компании «коммерческого подворья» (есть ещё, слава Богу, живые свидетели этой сцены) режиссёр Георгий Гаврилов решил вслух порассуждать, какого же Вампилов роду-племени: по творчеству — русский европеец, а по крови — полубурят. Вампилов долго терпел эти генеалогические разборки, затем встал со стула и с глазами, налитыми яростью, обратился к Гаврилову: «Запомни, я — монгол!» Видимо, судьбу своего отца, расстрелянного за «панмонголизм» и принадлежность Вампиловых к знатному монгольскому роду, он никогда не забывал. Наблюдая грустного Вампилова, а он чаще всего и был таким, я почему-то вспоминала И. Бунина, который свойственную ему «грусть без объяснения предела» приписывал своим монгольским корням.

У каждого писателя свои причины и свои темы, которые не дают спать по ночам. В середине восьмидесятых годов Глеб Пакулов ночью в доме на Байкале на обоях записал стихи, которые ему приснились:

*Ой ты, Русь, ты моя неизмерная!
Песни-стрелы куда домечу?
Гаревую тебя, нерассказанную
С тех до этих времён волочу.*

А Вампилов жил современностью, судьбой и помыслами сегодняшних русских мужчин и женщин, и мог на лёгком, казалось бы, фарсовом материале (двое забулдыг-студентов обманом проникли в чужой дом) ставить серьёзные проблемы.

Глеб знал с раннего знакомства с Вампиловым, особенно после Читинского семинара, что не у всех, конечно, но у многих из писательского окружения было особое отношение к Сане. На Читинском семинаре 1965 года Пакулов с Вампиловым оказались в одинаковом положении — у них не было публикаций. Но Марк Давидович и Борис Костюковский, вспомнив, что в серии «В помощь художественной самодеятельности» выходили какие-то миниатюры Вампилова, обшарили все библиотечные подвалы Читы и нашли-таки, что искали. (Эти доброхоты не знали, что Александр Вампилов уже тогда числил их по специфическому литературному ведомству — «мастера вводного слова»!) У Глеба к этому времени был написан рассказ «Ведьмин ключ», в 1964 году в знаменитой серии «Бригада» была опубликована подборка «Славяне», в которую вошли две поэмы, стихи. Стихи понравились, но Пакулов, как известно, привёз с собой пьесу, наскоро переделанную для ТЮЗа из детской повести «Горнист Чапая». Безалаберному Пакулову никто даже не напомнил об издании «Славян», которое было, кстати, и у Филиппова, одного из авторов «Бригады» и организатора семинара. В результате приём Глеба Пакулова в Союз писателей затянулся на целых десять лет — сам Марк Давидович не жалел ни денег, ни времени, приезжал в Москву всегда, когда стоял вопрос о приёме Пакулова в ССП. Он был чужой тому клану писателей, которые в то время всё и определяли — об этом после гибели Вампилова предупреждал его В. Шугаев. От тотальной неприязни всей этой братии не спасло даже отчество, которое он получил от отца, названного так в честь Иосифа-обручника. Так повели святцы. В стремлении же посадить Вампилова на божницу позже стали до-

ходить до смешного. Заведующая домом-музеем Вампилова в Кутулике по каналу «Культура» рассказывала: когда лодка перевернулась, Вампилов поплыл, но зная, что друг не умеет плавать (это после амурского детства и почти пятилетней службы на флоте!), вернулся прицепить руки Глеба к лодке, и затем продолжил плыть к берегу. А как описан этот момент у Андрея Румянцева — Вампилов (и тут он знал, что Глеб не умеет плавать), плывя, кричал ему: «Держись за лодку! Я поплыву к берегу (а куда бы ещё ему плыть? — Т.Б.), пришлю помощь». Какова драматургия, когда счёт шёл на секунды! Да и кто мог в этом хаосе хоть что-нибудь услышать? Отнесём это на счёт харизмы Вампилова. Поймёшь О.М. Вампилову, вдову драматурга, которая сетовала в «Комсомолке», что в Иркутске сделали из Вампилова идола. (Ольга Михайловна, я надеюсь, ещё не читала так называемый «Синописис» фильма о Вампилове «Облепиховое лето», где трагедия, по утверждению сценаристов, случилась оттого, что «у жены Вампилова и Глеба, его лучшего друга, завязываются странные отношения... Вампилов садится в лодку с другом, чтобы поговорить о том, что с ними происходит. Лодка переворачивается». Верно, от накала разговора.) До такого ещё никто не додумался! Протест сценаристам выразили многие, в том числе и И.А. Прищепова, они обещали сценарий изменить, но оставили за собой право на вымысел. Посмотрим!*

А плавал Глеб прекрасно, потому-то и крикнул ему Саня: «Плыви!», но Вампилов не подумал, что у Глеба высокие, но тесные болотные с раструбом сапоги, он снять их в воде не смог, они тащили вниз — вот и всё. Я часто думаю: купив эти сапоги, я спасла Глеба или усугубила всё дело — плывущий Глеб мог бы помочь Саше. Да что теперь о том размышлять...

Мне тяжело вспоминать о Вампилове, и я мало чего хочу прибавить к тому, что уже писала о нём. Да и вспоминается всё какими-то клочками. Помню под вечер Глеб (это было совсем незадолго до гибели Саши) встречал семью Вампиловых с парохода. Ольга с Леной пришли домой, а Глеб с Сашей долго оставались на берегу и пришли уже затемно, во-первых, трезвыми, что приятно удивило, но какими-то тихими и грустными. Позже Глеб рассказал: Саня со слезами на глазах говорил о том, как непорядочно повёл себя знаменитый московский режиссёр (не стану называть его имени, он потом прилюдно каялся — недопоняли, пропустили и т. д.). Вампилов договорился с ним о встрече по поводу постановочных перспектив «Утиной охоты». Режиссёр велел привратнику говорить, что его нет в театре. Вампилов решил подождать, мало ли какие дела задержали, но вскоре увидел эту знаменитость выходящим из театра. Больше Вампилов к нему не обращался. Страшно подумать, сколько унижений, обид претерпел Вампилов, предлагая свои пьесы в театры. Неужели надо было умереть, чтобы вдруг открылись все их достоинства!

Тяжёлыми были его предсмертные дни, настолько душевно тяжёлыми, что Вампилов из боязни с ними самостоятельно не справиться, обратился к известному в Иркутске психиатру за помощью. Тот ему посоветовал идти в церковь. Это было, по словам врача (он ещё жив), приблизительно за две недели до гибели Вампилова. Был ли он в церкви, не знаю. Смутно припоминаю, что собирался креститься. Он к этому, судя по «Старшему сыну», был готов, в пьесе ясно прослеживаются христианские мотивы добра, прощения, любви.

*Сценарий изменился, но правды не прибавилось. Непонятно, ради чего сделали фильм — ни вампиловского творчества, ни личности, ни байкальской природы, ни «облепихового лета». И самая большая неправда — нет даже намёка на присутствие Валентина Распутина в жизни Вампилова, тогда как иркутянам и исследователям творчества того и другого очевидно, насколько их дружба-соперничество была плодотворна для обоих.

Вампилов, несмотря на молодость, имел очень трезвое представление о жизни и не ждал для себя благоприятной писательской погоды, а действовал, проявляя, на мой взгляд, некоторое нетерпение в устройстве своих пьес, но при этом сноровку и даже артистичность, когда, особенно у чванливых москвичей, подвергался всяческой проверке. Саша рассказывал, как однажды во МХАТе Олег Табаков пристально взгляделся в Вампилова и церемонным жестом, но при этом изощрённо и витиевато матерясь, стал приглашать его сыграть в шахматы. Вампилов принял вызов и так цветисто ответил на его приглашение, что проиграли всю партию в гробовом молчании.

Недавно мой племянник Алексей вспомнил лето не то 1971-го, не то 1972 года, когда они были на даче в одно время с Леной Вампиловой. Лена вынесла из дома книжку с картинками, села на крыльцо, полистала, нашла нужную сказку и стала вслух её читать. Читала она бегло. Когда надоело, передала книгу Алёше, и тут выяснилось — он не умеет читать, а они ровесники. «Я до сих пор не могу забыть её взгляда, — вспоминает племянник, — сколько в нём было презрения, что я ушёл в огород и там от злости поплакал». Мы сидели на завалинке, Глеб заметил, что «девочки быстрее развиваются, с ними, наверно, интереснее» (у Глеба сын от первого брака рос в Киеве у бабушки, так что это сравнение шло вовсе не от собственного воспитательного опыта, а так — чисто умозрительно). «Хорошо, что у тебя девочка», — добавил он.

«У меня их две» — услышали мы, но удивились не самому известию, а тому, что Вампилов обмолвился о том, что тщательно скрывалось. Многие знали, что у него дочь от артистки-травести ТюЗа Галины Винокуровой. Она на год младше Лены и жила в Севастополе с матерью и бабушкой. В своё время Саша договорился о трудоустройстве ждущей ребёнка Винокуровой в каком-то уральском театре, и вместе с Валерием Стуковым они проводили её из Иркутска. Валерий Стуков довольно долго переписывался с Галей, хранил некоторые её письма и несколько фотографий девочки. Но затем всё передал в фонд Вампилова. Девочка, судя по фотографиям, копия Вампилова, по письмам матери очень талантлива, пишет стихи и собирается поступать в Академию Художеств. Вдруг она унаследовала вампиловские способности, а писательство — не единственная из них, он хорошо рисовал, прилично для самоучки музицировал. Судьба девочки (О Господи, ей уже пятьдесят, и, по слухам, она поэтесса и художница) могла бы заинтересовать фонд Вампилова хотя бы потому, что это факт биографии драматурга, и я уверена, совсем не пустой звук для него при жизни. Но уж очень фонд Вампилова заботится о стерильности образа писателя. А он, как и его Сарафанов в «Старшем сыне» — лучшей, судя по современной постановочной истории, из его пьес — монахом не был.

Что поделаешь? Размышляя о грехах нашей молодости впору возопить вместе с Николаем Гумилёвым: «Счёт, Асмодей, нам подготовь!»

О гибели Вампилова написано много небылиц, и мне до конца жизни их не опровергнуть, а потому я и не собираюсь этого делать, тем более, что об этом провела настоящее исследование Ирина Александровна Прищепова, литератор из Порты Байкал, и результаты его опубликованы. Но как забыть визит одного писателя (Царствие ему Небесное!), который пришёл к нам домой и сказал: «Знаешь, Глеб, ходят слухи, что в лодке вы с Сашей дрались». Глеб вытаращил глаза, а посетитель спросил: «А почему тогда одна щека Вампилова содрана?» «Я не знаю», — Глеб растерялся на миг, в это время я широко открыла дверь и выпроводила посетителя вон. А щека действительно была содрана — ведь его везли из Листвянки в

полупорке на голом полу. Много было чего, писать не хочу, только добрые люди, крепкая казацья закваска да моё терпение, говорю это без ложной скромности, помогли Глебу потихоньку, хоть и очень долго и со срывами, падениями, иногда, казалось, до самого дна, приходиться в себя. Но срывы были и тяжёлые. Как-то, а прошло уже года два с той августовской ночи, Глеб мне говорит: «Ты думаешь там, вцепившись в лодку, я только к толпе на берегу взывал, я к Нему взывал. Пусто Там». Я не заметила, как он вышел в другую комнату, взял подаренную архиепископом Иркутским Вениамином Библию 1956 года издания, вышел в сени, положил её на порог и стал с остервенением рубить. Услышав стук, я выбежала в сени и не помню, как отобрала её. Позже, по совету архиепископа Новосибирского и всея Сибири РПСЦ владыки Силуяна, я решила предать Священное Писание очистительному огню, да не успела — Библия куда-то исчезла.

На страницах рукописи «Глубинки» я нашла такие строки: «22–29 декабря — чёрные даты — отказано в приёме в Союз. Что им ещё? Надо писать, презрев завистливых графоманов. Не член — ну и хорошо. А Ж. — член, а Ш. — членище... Грохануть бы что-нибудь серенькое, но в словесах гремучих о БАМе. Пойдёт. Примут — нуждишка отбежит, хату, глядишь, дадут... Гроханул бы, да Богородица не велит... Отовсюду гонят, нигде не принят, секретариат не помогает, денег нет. Надо толкаться, а где взять острые локти... У меня никогда не было квартиры с тёплой водой. 47 лет — а что?»

Поздняя приписка: «Ты был счастлив, Глеба, а не замечал! Всего-то 47 лет!» Приписка сделана в конце восьмидесятых годов, когда на нашу семью навалились беды — на него, поскольку я работала и даже ездила по долгу службы на всякие ФПК и семинары в Москву и Ленинград, легла забота о моей маме, которая в полном параличе пролежала четыре года. А незадолго до этого Глеб по собственной доверчивости и глупости (точное слово) попал в историю с соседом, который втянул его в разборки с браконьерами. В.И. Носырев был пакостник хоть куда, уже под него копала милиция. История противная, совсем не такая, как её представил суд, но и правда могла бы оправдать подростков, а не пятидесятилетних мужиков. Втянув Глеба в эту авантюру, Носырев рассчитывал на заступничество за Глеба братьев-писателей, особенно В. Распутина. Он, да отец писателя Владимира Карнаухова, действительно вытащили Глеба из этой истории. Виктор Носырев, вскоре по выходу из тюрьмы, сгинул где-то в красноярской тайге — врагов у него было много.

А вообще Глеб везучий человек. Он и родился-то случайно. Старший брат Глеба, Сергей, дал матери деньги и настаивал на аборте, ведь голодное время, недавно от голода в семье умерла трёхлетняя девочка, у матери после потери дочери случился инсульт, да и вообще брат, а ему было уже за двадцать, считал всё это неприличным. Привезли мать в районный центр, а там ремонт и принимают лишь рожениц. Мать нашла, что это судьба и родила вот такого Геннадия-Глеба. В семилетнем возрасте он упал, гоняясь за махаоном, со сплотки — разошлись брёвна, и он оказался под ними, взглянул вверх и не увидел просвета. Его хватилась сестра Неля, поднырнула под плот и бездыханного вытащила на берег. Еле откачали. А сколько раз, работая в Сосновской экспедиции, он падал с вертолётom во время геофизической съёмки. Самый же удивительный случай произошёл в Читинской области: во время одного из маршрутов он свалился со скалы, сколько времени он пробыл без сознания, не помнил. Очнулся и увидел, что голова его лежит меж двух больших, отшлифованных временем острых игл-сучков повалившейся когда-то сосны.

Судьба его зачем-то хранила.

Когда на наш дом были большие нашествия гостей, как, например, во время какого-то совещания московских и сибирских писателей в 1975 году, мы с мамой старались уехать в город — лицемерие этой ватаги ничего приятного не сулило, да и гостям надо дать свободу. Разговоров, воспоминаний об этом гостевании было много, но мне запомнился рассказ Валентина Распутина, которого мы с мамой встретили на пристани в Листвянке, он ждал автобус в Иркутск, а мы переправы в Порт Байкал. Он стал расхваливать нашу кладовую, мощную, прямо-таки крепостную дверь в неё и сусек-сундук, на котором ему пришлось провести вторую половину ночи. Дело в том, что сколько бы гуляки ни запасли водки, её же всё равно не хватит, а купить там спиртное даже и днём было трудно. А до утра дотянуть как-то надо. Валентин тайно ночью взял несколько бутылок, закрылся на засов в этой крепости-кладовке и улёгся на сусек. Пропажу хватились, стали ломиться к нему в кладовую, но ничего не вышло. Когда все успокоились и ушли в дом, Валентин, немного погодя, открыл тихо дверь, выкатил бутылку, она стукнулась о порог веранды, и пока с радостным гиком писатели всем скопом наваливались на неё, Валентин успевал закрыться. Так он им выкатил бутылок пять. Ночь простояли.

Несколько лет спустя уже от Виктора Астафьева я слышала об их утренних страданиях, о том, как он, а также Евгений Носов, Владимир Соколов, Пётр Реутский и другие лежали вповалку в нашей большой комнате и пришла Нэлли Матханова. Виктор Петрович говорит: «Чё стоишь, помогай Глебу уху варить!» — «Он и сам справится». — «Да хоть картошки ему почисть!» — «Ну нет, я недавно маникюр сделала». — «Ну тогда ложись рядом» — это мог сказать, конечно же, только Виктор Петрович Астафьев.

Бывал он у нас несколько раз, и дважды с Марьей Семёновной. Второй его приезд с женой мне особенно запомнился — они заехали к нам в 1977-м или в 1978 году, после Улан-Удэ, где Марью Семёновну приняли в СПР. Сам Виктор Петрович считал, что нужды в этом никакой бы и не было, если бы жену, которая только «Пастуха и пастушку» десять раз перепечатывала, оформили как секретаря писателя Астафьева, хотя, насколько я поняла, Марья Семёновна своих писательских амбиций не скрывала, видимо, на том основании, что была хорошей рассказчицей. Марья Семёновна была больна, её незадолго до этого кусал клещ, да и вся эта неприятная процедура с приёмом в писатели подточила её нервы. Она с неделю пролежала в коридоре, на старинной кровати со всякими шишечками и загогулинами, на сенном матрасе — эта кровать была любимым местом Виктора Петровича. А ещё ему нравилось, что хозяин-строитель нашего дома носил фамилию Потылицын — это девичья фамилия его матери и любимой бабушки. Много было чего приятного — Виктор Петрович читал кое-что из своих «Затесей», которые писал всю жизнь, смешно рассказывал о ежегодных посиделках с фронтовиками в коридорах медкомиссий, где очень серьёзно проверяли друг друга на предмет — не отросли ли у кого руки-ноги и не прозрел ли у кого стеклянный глаз за прошедший год. А какое удовольствие было ходить с ним в лес, где каждую травинку он знал по имени-отчеству!

После того как Астафьев переехал в Красноярск, особенно после того как он прочно, своим домом, угнездился в Овсянке, к нам на Байкал он, кажется, не приезжал. Глеб с ним встречался в Иркутске лишь однажды на декаде советской литературы в 1984 году.

Всяким вспоминается Астафьев. Этот человек получил от Господа Бога столько даров, что хватило бы и на десятерых — блестящий рассказчик, потрясающий певец (я, любительница поспать, просыпалась рано, выходила на крыльцо слушать его пение с лодки, когда поутру у Шаман-камня они рыбачили с Глебом). У него был, насколько я могу судить, баритональный тенор, но, главное, пел он «с душой». К русской песне он относился трепетно. Помню, на веранде, где мы в основном и сумерничали, иногда и под водочку, запели про Стеньку Разина, и кто-то из гостей (а их было много, всем был интересен Астафьев), войдя, что называется, в «раж», решил доставить удовольствие любителю крепкого слова Астафьеву, переиначил слова песни: вместо «не видала ты подарка» пропел «ни ...я ты не видала от донского казака». Надо было видеть Астафьева! Глеб наутро сказал мне: «С таким лицом он, наверное, в атаку ходил». Фольклор непечатный он употреблял, невзирая на лица, и звучал он как-то беззлобно и без выпячивания, так, вставные словечки. Рассказывал, как однажды в Праге в их Союзе писателей разговорились о белочехах. Чехи утверждали, что они сделали много чего хорошего, и сибиряки должны их добром поминать. «Да поминают, ё... и песню сложили — на нас напали злые чехи, ё... село родное подожгли, ё... твою». Хорошо поговорили.

Глеб, в отличие от многих, которые пользовались приездом Астафьева, приносили свои рукописи (этим особенно злоупотребляли В. Жемчужников с Н. Матхановой), никогда не домогался его писательского покровительства, его отношение к Астафьеву было совершенно бескорыстным и дружеским. Глеб всегда считал, что тёплые и доверительные письма Астафьева к «Глебушке» Пакулову могут говорить о таких же ответных чувствах Астафьева к нему. (Они почти все опубликованы. См.: Скиф В. Байкальское Переделкино. М. : Вече, 2015. С. 95–99, 103).

То, что произошло с В.П. Астафьевым к девяностым годам, понять трудно, хотя многие черты его характера, врождённые и благоприобретённые, предопределили, на мой взгляд, его повороты и блуждания к девяностым годам. Он привык к тому, что люди должны быть просто счастливы, оказывая ему внимание и почести. Маме В. Астафьев сразу не понравился (её чисто женское и чисто бытовое объяснение этого я не хочу воспроизводить), но к моему огорчению — ведь теперь все кухонные заботы лягут на меня, гостей, как всегда по приезде Астафьева, будет много — мама решила уехать с Байкала. По её мнению, В. Астафьев не выдерживал никакого сравнения с московским писателем Н.П. Вороновым, который не однажды гостил у нас с женой и сыном Антоном. «Извести, когда соизволит пребывать в ваших краях месье Воронов. Я его терпеть не могу», — писал Глебу Астафьев. Какая-то неведомая нам кошка пробежала между ними, или просто это были люди разной породы. (О семье Вороновых сказ впереди.) Помню, с каким возмущением (это было приблизительно в 79–80 годах) Виктор Петрович рассказывал о том, как при переезде в Красноярск ему посмели не принести к поезду ключи от квартиры, а попросили пожить в гостинице — через две недели квартиру доделают. Мне хочется думать, что на его умонастроение, помимо российских неустройств, повлиял первый инсульт, ведь известно, как мозговые неполадки могут изменить характер, с такой злобой вещать о вечном пьянстве, рабской душе русского человека, дойти до желания «потопить в крови красно-коричневых», от которых он получил все мыслимые и немыслимые награды и почести — всё это пахнет клинкой. Мне так думать легче, читая письмо Астафьева к Л. Бородину от февраля 2000 года, где он описывает случай к тому времени уже двадцатипятилетней давности. Вот что он пишет: «А на пути в вампиловский (!) дом пробовал

меня утопить погубитель Саши Глеб Пакулов. Это мы на лодчонке вышли на волнорез, и Пакулов запаниковал. Ожидал, что на выходе волна меньше. Фронтвик, опытом богатый (В.П. служил на флоте? — *Т.Б.*), я показал ему кулак. И начал указывать рукою, чтобы он не пёр дуром на волнорез, а помаленьку, полегоньку сваливал с волны на волну, и к берегу спокойно рулил. Когда подвалили к берегу, он был бледен и мокр от напряженности, я ему внятно сказал: «Тебе что, твою мать, Вампилова мало?»

Как хорошо, что Глеб этого не слышал — спасибо Л. Бородину.

А вот что рассказал мне утром Глеб об этой поездке. Действительно, при выходе на Ангару из Байкала их встретила крутая волна, но не настолько, чтобы повернуть назад, как того хотел Астафьев. Лодка вошла в Ангару, Глеб сбавил скорость и, как обычно в такой ситуации решил идти «сидя на волне» (Глеб это хорошо умеет, не раз на Байкале попадали в шторм). Так и стали продвигаться к дому. Глеб не ожидал, что Байкал так панически может подействовать на фронтвика — Астафьев стал выхватывать у него руль, орать, материться, но руль Глеб не выпускал. Причалили к берегу, и Глеб ему прокричал: «Какого... ты руль хватал — хватит с меня Вампилова». Глеб корил себя всю жизнь, что за рулём в тот злосчастный вечер сидел Вампилов. Вот так Пакулов «пробовал утопить» Астафьева.

Недаром его друг, тоже фронтвик, Евгений Носов писал в «Литературной России» от 21 июля 2001 года: «Мои отношения к Астафьеву поостыли — он стал много врать и в своих публикациях, и в устных выступлениях» и, добавив от себя, в письмах.

Да Бог ему судья.

В такую же, если не более опасную, ситуацию попал с Глебом Владимир Крупин. Они плыли из Порты Байкал в Листвянку и напоролись на «низовку», которая налетает неожиданно и вмиг поднимает волны-горы. Такой стихии Крупин, да и Глеб, не ждали. «Неслись на маленькой лодчонке по глубоким ущельям между волнами», — как вспоминал позднее Крупин. А тогда он молча молился. Долго ветер таскал их вдоль берега, наконец, удалось выскочить на него. Выйдя на берег, спросил Глеба: «Ты крещёный?» — «Собираюсь». Отыскали глазами церковь в Николе, нашли всё понимающего батюшку, и Крупин приобрёл себе крестника, неуёмного Глеба Пакулова.

А теперь, как говаривал протопоп Аввакум, на первое возвратимся.

Рыбачить, принимать гостей, ходить в лес за грибами, совершать лодочные походы вдоль берегов «протяжения», так местные называли Кругобайкалку, — всё это было. Но почему-то, уже распрощавшись с дачей, в городе Глеб чаще всего вспоминал время, когда он работал над «Варварами», «Глубинкой», «Останцами» и начал работу над «Гарью», хотя на Байкале была написана лишь первая страница романа о протопопе Аввакуме. Эта несчастная страница мозолила мне глаза целую вечность и напоминала талантливого Евгения Суворова, который несколько лет таскал с собой и всем показывал тетрадку, где крупным почерком, на добрых пол-листа, была написана лишь одна фраза: «Имярек (не помню имени. — *Т.Б.*) каждое утро просыпался с чувством, что что-то должно произойти, но ничего не происходило». В какой рассказ он её, наконец, приспособил — посмотрю. Мне иногда кажется, что известная «леность» этих талантливых писателей, Евгения Суворова и Глеба Пакулова, определяется тем, что честолюбивые устремления того и другого можно измерить лишь в микродозах. Первая страница у Глеба в неизменном виде вошла в роман, всё остальное дописывалось в городе, когда мы с дачей уже расстались.

А на даче, когда он, наконец, решал, что просится «перо к бумаге», ему хотелось быть одному, тогда мама уезжала в город, забирала с собой малыша Кешку и кота Ерофея, а большая собака-лайка Дик оставалась жить с Глебом в соломе под верандой. Я, смотря по расписанию моих лекций, иногда приезжала к Глебу, привозила книги, которые были нужны для работы, и продукты, никто меня не встречал — связи не было, добиралась по кромке льда из «Рогатки» в Порт, часто под раскаты треснувшего во всю байкальскую ширину льда. Не однажды меня хватала «низовка» и утаскивала вместе с тележкой в торосы, «верховик» меня миловал — много людей он смыл в исток Ангары. Не могу поверить, что это было со мной. Зимой 1974/1975 годов мне повезло — кафедра позволила выполнить годовую нагрузку за один семестр, а второй семестр посвятить диссертации. (Такая свобода сегодняшней кафедре и во сне не приснится!) Эту зиму мы провели вместе — я закончила диссертацию, а он «Варваров». А в одиночестве в байкальском доме Глеб не бывал никогда. Помимо собаки скрашивала одиночество мышка — Глеб, бывало, положит хлебных крошек на валенки, в которых всегда ходил в нашем большом — не натопись — доме, мышка придёт, поскребёт валенок, залезет на носок, крошки погрызёт и не уходит, сидит, пока хозяин не встанет. Мышку звали Женей. Грустно было думать, что будет с ней летом, когда нагрянет толстый и разбойный Ерофей. Но с этой мышкой Глеб дружил три года. Прилетала несколько лет подряд красавица-ронжа, синички были всегда. А сколько всякой радости связано с лошадьми! Кони принадлежали лесничеству, но Носырев о них не заботился, они кормились как придётся, рожали в лесу, очень редко приводили жеребёнка — тайга забирала. К нашему дому примыкал огород в девятнадцать соток, соседи выкашивали его, пока держали корову, потом Глеб сам косил двор, и возле окна, где стоял письменный стол, ставил стожок, разгораживал часть забора — приходили две лошади и не уходили до зари: хрумкали сено, вздыхали, тёрлись шеями, тоненько ржали. В лунные ночи они казались фиолетовыми.

Одну встречу с лошадьми я вовек не забуду. Мы со щенком, его звали Отрок, пошли через болото в гору за черникой. Отрок бежал за мной и вдруг так панически, громко и жалобно закричал — его укусила, видимо, болотная крыса. Я бросилась к нему, взяла его на руки, прижала к себе и стала успокаивать. Вдруг я услышала за спиной страшный топот — на меня бешено, разметав гриву и раздув ноздри, летел с горы конь. Мы с Отроком от страха окаменели, а жеребец, видимо, понял, что малыша никто не обижает, резко затормозил, глубоко пробуравив копытами болотную землю, и как вкопанный остановился перед нами. Боже, как мы смотрели друг на друга! Конь резко отвернул голову и ушёл. Я до сих пор не знаю, кто тут из нас «братья меньшие».

С воронами, а их было множество, дружил писатель Николай Павлович Воронов. «Они же знают, что мы родня. Птица умная». Вороновы были чудесная семья. Жена его, Татьяна Петровна, была настоящая русская красавица, с пучком светлорусых слегка вьющихся волос. Я не знаю женщины, которой так шли русские павловопосадские шали — их у неё было множество. Николай Павлович очень бережно с ней обращался — жена страдала белокровием. Вороновы появились у нас вскоре после публикации его самого знаменитого романа «Юность в Железнодорожье», где Николай Павлович описал свою рабочую юность на одном из заводов Магнитогорска. Описал не так, как надо, и его имя тогда склоняли рядом с именем Твардовского, который в журнале «Современник» напечатал несколько глав вороновского романа. Дважды с семьёй приезжал их сын, красавец

Антон, похожий на молодого Петра Великого. Оставлять его без присмотра они боялись — московские мальчишки уже баловались, правда, не таким убойным, как нынешнее, зельем. Николай Павлович не был заядлым рыбаком, хоть рыбачить пытался. Он любил походы, они семьей облазили все окрестности — ходили на Кругобайкальскую дорогу, посещали ближние тоннели, но особенно любили лес. Уральский деревенский человек Николай Павлович устраивал нам познавательные экскурсии, открывал много чего нового.

Вот и ворону он каким-то непонятным образом и очень быстро приманил. На его ласковый призыв «Воронуша, Воронуша», птица мгновенно откуда-то прилетала, садилась на ветку у веранды и ждала подношения. Однажды даже села ему на плечо, это было во время их свидания в следующем году. А ещё Воронуша замечательно передразнивал смех Татьяны Петровны и таскал специально положенные Николаем Павловичем блестящие штучки, обёртки от конфет, пуговики.

Я совсем не удивляюсь уму животных и птиц. Вороновым я рассказала случай, произошедший со мной осенью в деревне Мурино, заселённой преимущественно немцами, туда я ежегодно в течение двадцати лет ездила со студентами на сельхозработы. Утром мы поехали за молоком и увидели под ЛЭП большого коршуна. Едем назад — сидит, поняли, что коршун ранен, разбился о провода. Коршун был слеп. Он безропотно принял нашу помощь. В кладовой возле клуба, где мы жили, сделали насест, я кормила его фаршем и сливками, поила водой. Меня он знал. Бывало, идём гурьбой с поля, болтаем, коршун безошибочно узнавал меня по голосу, бежал, раскинув свои двухметровые крылья и прыгал мне на телогрейку. Я приготовила большую коробку, решила привезти коршуна на Байкал, но один кавалер, отвергнутый нашей студенткой, из мести ночью убил птицу. С тех пор я не очень верю в то, что человек создан по образу и подобию Божию. Вороновы любили Кешку, «замечательно умную собачку», как определил его В. Астафьев в воспоминаниях о Вампилове и Байкале, и не только как «стукача», о чём много писано. Кешка был просто гений в собачьем царстве, многое, что он умел и знал, выглядело бы при описании неправдоподобно — в городе он ездил к своей подружке на трамвае, кондукторы его знали, по просьбе Татьяны Петровны танцевал, чихал, доставал из кармана сахар, ложился и «крепко глазки закрывал» и др. И умер достойно — погиб на Байкале в весенних любовных баталиях с местными волкодавами.

В Москве Н. Воронов был близок со многими писателями, хорошо и всегда по-доброму рассказывал о А. Твардовском, о В. Шукшине, даже, после его кончины занимался сбором денег для какой-то бедной актрисы, имеющей дочь от Шукшина.

У Н.П. Воронова есть сюжеты и образы, навеянные Байкалом, но рассказ о вороне, где он стал воронёнком Карлушей, писатель связал с домом Валерия Стукова, где жил поначалу, пока мама не привела семью в наш, более просторный и благоустроенный дом. Н.П. Воронов был обижен на нас и имел на то полное право: вскоре после смерти моей мамы умерла Татьяна Петровна, о чём мы с пригорбьем и оповестили друг друга. Через некоторое время кто-то из приезжих в Иркутск москвичей сказал, что поклон Воронову он передать не сможет — Николай Павлович уже умер. Мы не удивились — это был на редкость нежный союз, существование без жены, видимо, потеряло для него всякий смысл и ускорило его конец — так мы решили, тем более, что у него было неважно с сердцем. Заглянув недавно в «Википедию», я узнала, что он умер позже Глеба — есть же примета,

что слухи о смерти прибавляют жизни. Но мне стало так не по себе, что я отложила всю эту писанину надолго...

Николай Павлович много сделал для Глеба — хоть и изрядно исковерканное, но первое издание «Глубинки» в 1981 году вышло не без его участия. Работая в «Ленинке» над «Гарью», Глеб останавливался у него в Москве. Н.П. Воронов был замечен как литератор, он автор не менее двух десятков романов, подписал вместе с В. Распутиным «Письмо 74-х», был советским патриотом, а потому в «либеральные» времена абсолютно не медийной фигурой. Почему-то и в «Нашем современнике» мы его имени не встречали. Восьмидесятилетний юбилей писателя отметила не Москва, а родной Магнитогорск.

Прости ты нас всех, дорогой Николай Павлович!

Когда началась война Глебу было одиннадцать лет. На самом её кончике, после завершения учёбы в Благовещенском речном училище, на пароходе «Профинтерн» он ходил по Амуру и Сунгари, возил грузы и пленных японцев. Часто вспоминал крупного голубоглазого японца с носками, где большому пальцу вывязали, как говорил Глеб, отдельный отсек. Впрочем, все японцы носили такие носки. Однажды «Профинтерн» налетел на японскую мину, которые во множестве плавали по Амуру. Они, японцы, были рядом всё детство, часто устраивали стрельбу с другого берега Амура, от японской мины, что застряла под мостом, погибли дети, одноклассники Глеба. Тревога не покидала жителей Приамурья, и только после Сталинградской битвы вздохнули с облегчением — японцы уже не нападут. Три родных брата Глеба воевали, один из них, Костя, погиб в 1942 году под Вязьмой.

Отца Глеба, Осипа Ивановича, в армию не взяли — ему уже шел шестой десяток. Все заботы о семье легли на него, охотника, огородника. В память об отце, который умер в 1976 году, Пакулов стал писать «Глубинку», не надеясь на её счастливую издательскую историю. В это время выходило много прекрасных романов о войне самих фронтовиков, тема тыла ещё не была так актуальна. И действительно, «Глубинка» в начале восьмидесятых не имела того резонанса, что имела сейчас, — всему своё время. Помню, после выхода в 1981 году в Москве «Глубинки», где в основу сюжета была положена семейная история Пакуловых, Ю. Самсонов, Д. Сергеев упрекнули Глеба, что это он себя так разукрасил, прямо пай-мальчик. Костя, конечно, немного Глеб, но ведь повесть или роман — это сочинительство. «Если бы я писал себя, — говорил Глеб, — то смешал бы Котьку с Ванькой». Пусть в повести эти два подростка живут отдельно, хотя в жизни Глеба благоразумный Котька нерасторжим с шалопаем Ванькой.

Падь Молчановская, где стоял наш дом, это Россия в миниатюре, разделившая по полной судьбу страны — в революцию она приняла переселенцев, бежавших и от белых и от красных из Центральной России, в Великую Отечественную — беженцев с Украины. Вместе с коренными байкальцами пережили тридцать седьмой год, когда из распада навсегда уводили мужиков, преимущественно японских шпионов, один из которых, муж нашей соседки Татьяны Васильевны, рабочий рыболовецкого колхоза, не умел ни читать, ни писать. Старожилы Порта Белянушкины рассказывали о латыше, председателе поссовета, который каждую ночь, перед тем как выполнять очередную разнарядку по шпионам и диверсантам, ходил по берегу со своей собакой, и, наконец, душа его не вынесла — он застрелил своего друга-дога и убил себя.

А лихолетье девяностых не оставило в «Молчановке» никого из коренных жителей — Белянушкины, отец и сын, сгорели от какого-то пойла. Теперь это дачный посёлок.

В основу повести «Останцы» Пакулов взял бывшую у всех на слуху историю двух молчановских парней, которые воевали в одних частях, и рассказал о том, как страшно и по-разному война для них закончилась. Судьбу одного из ребят связывали с семейством Молесовых. Их дом на берегу Ангары сейчас стоит законченным. Сюжет давал возможность показать разные характеры, их поведение, мотивы их поступков в сложных непредсказуемых поворотах судьбы. Есть там персонажи вполне узнаваемые, узнаваемы природа и быт. Повесть «Останцы», интересная и сложная по психологическому рисунку, издавалась в Иркутске и Москве.

В Порту Байкал неизменным спутником-другом по рыбной ловле, и не только, стал Николай Иванович Есипёнок, добрейший человек, первый издатель детских книжек Глеба Пакулова. Николай Иванович приобрёл домик на берегу Молчановской пади, возле дома Молесовых. С ним Глеб рыбачил не только на Ангаре, с Колей они выходили и на какую-то красивую ночную подводную с подсветкой рыбалку на Байкале. Привозили ли они рыбу, не помню, а разговоров о сказочной красоте подводного царства было не переслушать. В его гостеприимном доме, так удобно стоящем у самого входа в наш распадок, всегда (как и сейчас) было много народа — коллеги из издательства, авторы, друг и однокашник, знаменитый фольклорист, исследователь сказок, быличек, песен Восточной Сибири Валерий Петрович Зиновьев с семьёй. Николай Иванович частенько составлял компанию Валентину Распутину в походах за ягодой, а далеко не каждый, кто хоть раз ходил с Распутиным в лес, отваживался быть ему сопутником вновь. Этот «сохатый», как называл его Глеб, шагал легко, мощно раздвигая ветви своими длинными руками — не всякий за ним угонится. Глеб, наевшийся забайкальской тайги в пору работы геофизиком в Сосновке, к тому же не любивший собирать ягоду, был лишь извозчиком.

Глеб и Коля являли собой контраст, наверное, потому им хорошо дружилось. Порывистый, непредсказуемый Глеб и спокойный, основательный Коля дополняли друг друга. Глеб любил подшучивать над медлительностью Коли. «Ну, слава Богу, показался кончик Колиной удочки — через полчаса и сам явится» — это когда они на рыбалку собирались. Но зато при ситуациях форс-мажора Коля действовал споро, основательно и без лишних движений.

В один из июньских дней, кажется 79 года, Глебу с Николаем Ивановичем пришлось наблюдать печальную картину. Лето выдалось на редкость ненастное, дней десять не было солнца, лил дождь, и слётки стрижей, которые кормятся насекомыми на лету, падали от голода — берег был усеян их мёртвыми тушками. Глеб пришёл домой мрачный, лёг спать. Эта картина его долго мучила. И поскольку он уже серьёзно думал об Аввакуме, в этой картине он нашёл ассоциации с судьбой и жизнью протопопы. Мне сказал: «Ведь стриж, вроде обычная птица, а как это прекрасно — сама её жизнь возможна лишь в полёте. Так и Аввакум. Его жизнь возможна лишь в духовном полёте. — Потом добавил: — Да и сама смерть — духовный взлёт». Мне кажется странным, что гибель птиц нигде в романе не упоминается.

В 1970 году по решению ЮНЕСКО в Советском Союзе и в других странах мира отмечалось 350-летие со дня рождения великого русского писателя протопопы Аввакума. Вышли его «Жития» под редакцией Гудзия, Робинсона и др. Глеб вначале заинтересовался им как читатель, читал вслух и меня заставлял слушать самые захватывающие места великого «Жития». То же самое он делал при сборе грибов — ни за что не сорвёт большой и красивый гриб, пока и я им не полюбуюсь

в его родном природном окружении. До восьмидесятых годов он не помышлял о романе. Это решение созрело, я думаю, с выходом «Жития» в Иркутске в 1979 году в серии «Литературные памятники Сибири». (При моих частых поездках в Москву по делам диссертации лучшего подарка москвичам придумать было нельзя.) Я привозила ему книги из Москвы, делала в «Ленинке» ксерокопии статей и чувствовала, что с обилием литературы, которую я подбрасывала, к нему подступала робость — как выработать свой стиль, как преодолеть соблазн подражания Аввакуму, как сохранить некую писательскую нейтральность, объективность в обрисовке персонажей, не во всём симпатичных автору.

«Маша, у нас в Иркутске случилось большое литературное событие — вышла из печати книга Глеба Пакулова «Гарь» о протопопе Аввакуме. Обещаю тебе её прислать, заранее взяв у автора автограф». Много воды утекло от начала работ над книгой до этого радостного сообщения замечательному русскому поэту Марии Аввакумовой Владимира Петровича Скифа, всегда дружески расположенного к Глебу. Мария Николаевна ведёт свою родословную от мятежного протопопы, и, естественно, это известие её заинтересовало. «А «Гарь» я тоже ждала. Только ждала от Семёновой. Но твоя (от тебя), да ещё с автографом автора! — бывает ли что лучше? Я пока не читаю, а после Пасхи возьмусь — тогда держись, Глеб Пакулов! Такого пристрастного читателя, как я, вряд ли случится: тут ведь совсем особый случай...» Прежде чем писать серьёзную и истинно писательскую рецензию на «Гарь», Мария Николаевна по прочтении романа написала Владимиру Скифу: «Володя! Передай Глебу Иосифовичу привет и доброжелательство. Всё-таки он молодец! Книге его предстоит долгая жизнь, хоть и не очень шумная, слава небесам».

Писалась «Гарь», в сущности, пять лет, с конца 1999 года по 2005 год, уже в новой, маленькой, в сравнении с предыдущей, квартирке. Её облюбовал сам Глеб, обустроил уютное рабочее место. Рядом жил Анатолий Байбородин, что было тоже удачей, он, хоть и воцерковлённый в так называемую «никоновскую» церковь, знал староверов, сам был родом из тех забайкальских краёв, где они жили, пытался, тогда, в пору увлечения темой, по-моему безуспешно, посеять сомнение у Глеба в полной правоте и непогрешимости староверов. Они много и бесполезно общались по этому поводу. Прежде чем, по слову Валентина Распутина, «наша неповоротливая критика как в святцы заглядывала в одни и те же имена», А. Байбородин написал серьёзные, я бы сказала, художественно-исследовательские очерки о романе «Гарь» и о Глебе Пакулове, где с чуткостью писателя разгадал его «показачьи горячий, гулевой, неуёмный в талантах дух», и, что важно, Байбородин, сам знаток и ценитель русского слова, нашёл в Пакулове «своеобычного и живописного художника, столь легко и безнатурно владеющего ярким образом и корневым народным говором» (Байбородин А. Вещее слово о родове, судьбе и творчестве Глеба Пакулова: очерк // Сибирские огни. 2005. №11. С. 141–157).

О протопопе Аввакуме много чего написано, чтение затягивало, материал начинал давить. Пользуясь своим опытом исследователя, я убедила Глеба сделать что-то вроде тематического каталога. Глеб сделал коробку и картонками, как в библиотеках, наметил темы, отделы, и по мере чтения заполнял их выписками либо просто указывал источники, где можно отыскать нужные сведения. Главное — наметил канву повествования. Последние два года были самыми трудными. Несколько дисциплинировало то, что роман по главам стали печатать в «Сибири». И всё-таки я вспоминаю это время как самое счастливое — раньше перерывы между написанием «Варваров», «Глубинки», «Останцов» были раздражающе большими.

Работал он обычно так: писал остро отточенным карандашом, мелкими, почти как у В. Распутина, буквами, но к концу работы над «Гарью» буквы стали крупнее, подводило зрение, пришлось перейти на шариковую ручку. Он с иронией поглядывал на платиновый паркер, подарок Распутина — такими «стило» позволительно писать, если замахнулся на что-нибудь не ниже, чем «Фауст». Паркер покоится в Иркутском архиве. Написанное на бумаге Глеб правил, затем перепечатывал на изрядно покалеченном Ундервуде (машинка слетела с мотоцикла по дороге в Порт Байкал), опять правил и ждал меня с работы. Я с помощью А. Байбородина освоила компьютер как печатную машинку, Глеб с ним так и не примирился — он не мог понять тех, кто, как он говорил, чешет прямо на клавишах. Несмотря на то, что я перепечатывала готовый текст, он всё допытывался: «Это как? Слова-то разные, они вызывают разные чувства, а ты должна печатать всё это с одинаковым нажимом?» — «Приспособилась, — говорю ему, — слова-то не мои».

Глеб Пакулов умер в докомпьютерном веке.

Бывало и так — он просил перед перепечаткой внимательно прочесть текст. Это означало, что ему там что-то не нравилось. По прочтении я, как правило, угадывала, где не удалось ему поймать, как в силки, нужную мысль или нужное слово, — перепечатка откладывалась.

А больше всего его заботил верный тон, верный, как ему это представлялось, стиль: писать современным языком — пропадает аромат эпохи, злоупотреблять архаизмами — читатель не вынесет, устанет. Об этом хорошо написала Мария Аввакумова.

«Берясь писать о великом страдальце за древнее благочестие, Пакулов рисковал не выдержать невольного сравнения с самим автором «Жития...». Однако вышло не соревнование, а созвучие, сотоварищество. Собственно, задумано было рискованное предприятие — пройти сибирскими дорогами страстей протопоповых. Карта — в самом «Житии...». Надо было сопережить всё заново. Что привело в музеи, архивы... и затянуло на много-много лет. Зато теперь мы видим объёмные стереоскопические картины Сибири второй половины семнадцатого века, прекрасно выписанные портреты Пашкова с семейством и окружением, и чуть ли воочию зрим ребятишек аввакумовых, светлой тенью скользящую по страницам романа Анастасию Марковну. А уж сибирские пейзажи и состояния природы выписаны с такой любовью и проникновенностью, что целыми страницами хочется перечитывать, чтобы насладиться языком писателя. В чём тут дело? Оказывается «великий и могучий русский язык» по-прежнему велик и могуч под пером мастера. И способен творить чудеса. Вот как сотворил со мной: благодаря роману «Гарь» я пережила чудесное чувство — радость узнавания Родины своей через древлеотеческое слово.

Говоря об этом романе, никак нельзя умолчать недавнего, ещё тёплого романа «Раскол» Владимира Личутина, над которым автор этого колоссального произведения тоже трудился много лет — шестнадцать. Территориально они не помешали друг другу. Личутин почти не коснулся первой — сибирской — ссылки Аввакума, тогда как Пакулов построил повествование в основном на этом периоде. Первое, что бросается в глаза при сравнении: оба писателя ярко явили как бы два разных словаря русского языка, но тот и другой волшебны прекрасны» (Аввакумова М. Мы из того костра // Тобольск и вся Сибирь. Иркутск. Москва–Верона, 2007).

Первое издание «Гари» вышло в издательстве «Иркутский писатель» в 2005 году. Второе — в Новосибирске в 2006 году попечением архиепископа Новосибирского

и всея Сибири РПСЦ владыки Силуяна. Эти два издания не содержали главы о патриархе Никоне, так как Пакулов собирался посвятить ему отдельную книгу. Вскоре понял, времени не хватит, решил о нём дописать главу, которая вошла во все последующие московские издания романа.

Первую рецензию о «Гари» — «Великолепный роман Глеба Пакулова» — написал за две недели до кончины незабвенный Ростислав Филиппов. За две недели до собственной кончины Глеб Пакулов написал «Слово о Славе» для книги воспоминаний о нём. Писать ему уже было трудно. Всё «Слово» — это запись нашего общего «А ты помнишь?». Вспоминали, я записывала, прочитывала ему, он кое-что подправлял, уточнял... Затем попросил бумагу, карандаш и написал своё, интимное, только им двоим понятное:

«Во всякую минуту ты рядом. Мы стоим на росстани по разную сторону незримого отчерка, но руки наши сцеплены, мы вместе и долго — несть конца — безмолвно говорим о разном. Мнится — решишь я написать о тебе на бездушной бумаге в прошедшем времени — руки необходимо разомкнуть, и ты для меня, живой, тут же отдалишься бесплотной тенью в ту вечно чаямую Обитель Воли Господней на небо, которую мы, невольники суетного мира, молитвенно выпрашиваем для себя: «Да будет Воля Твоя, яко на небеси и на земли».

По настойчивому уговору тоже близкого мне человека я пишу эти необязательные строки, а ты, становясь зыбким воспоминаньем, отдаляешься и отдаляешься, оставив в моей распятой ладони преходящую теплинку бытия человечья. Прости. И до скорого».

Теперь уж не отдалятся — рядышком лежат.

Дома хранится «Гарь» московского издания 2010 года с бумажной наклейкой, где рукой Глеба написано: «Гарь». Рабочий экземпляр. Не затерять! Глеб Пакулов». Понятно — это уже для меня. Дело в том, что в московское издание вкралось много всяких орфографических и смысловых ошибок, да по последнем прочтении романа Глеб и сам решил что-то подправить, где-то сократить монологи, где-то, напротив, кое-что прибавить. Таких правок немного. Валентин Распутин по прочтении «Гари» определил её в разговоре с Глебом «вещью значительной», но посоветовал убрать три строчки, которыми заканчивается роман. Глеб согласился. Строчки про «аввакумовы пенёшки», которые так нравились старообрядцам, были перенесены на форзац. Учитывая все правки, я в 2015 году издала в Иркутске «Гарь» малым тиражом (100 экз.) в надежде, что к четырёхсотлетию со дня рождения протопопа Аввакума «Гарь» выйдет в этом исправленном и дополненном варианте.

Недомогание Глеба в последние два года мы приписывали летам и наследственности — отец и мать Глеба умерли от инсульта. Я, как могла, поддерживала его сосуды и сердце, просто пила, правда в меньших дозах, тем, что по совету врачей пила сама. Подточил его здоровье анафилактический шок от укула в зубном кабинете — пролежал в реанимации четыре дня. В одно июльское утро 2010 года (у нас гостила в это время приехавшая из Ярославля Лидия Янковская, она намеревалась представить иркутской публике свою ораторию «Аввакум») Глеб вышел на кухню необычно жёлтым, с жёлтыми белками глаз. Карета «скорой помощи» увезла его в инфекционную больницу, где прямо сказали, что нам не повезло — это не гепатит. Пришёл на помощь, как всегда, В.П. Скиф, знакомый ему врач областной больницы сразу определил рак второй степени в очень неудобном, не подлежащем операции месте — в печёночных протоках. Положили в областную онкологиче-

скую больницу. О седьмом печёночном отделении этой больницы покойный поэт Геннадий Гаида рассказывал всякие ужасы, но действительность оказалась ещё страшнее. Такого откровенного пренебрежения к обречённым людям, отношения к ним как к расходному материалу, мне не приходилось видеть. С ужасом вспоминаю лечащего врача Хаматова (до чего же наши фамилии не в бровь, но в глаз!), под стать был и обслуживающий персонал — «ну, дед, подставляй свою задницу» — так обращалась к Пакулову медсестра, намереваясь делать укол. Лечение заключалось в пяти многочасовых операциях под наркозом, которые делались в диагностическом центре — через полтора месяца вставляли какие-то трубки (стенты), заменяющие истлевшие проходы между печенью и желчным пузырём. Затем в кузове грузовой машины, даже без сопровождения медсестры (она сидела в кабине с шофёром), отвозили в онкологический центр, часто, как рассказывал мне Глеб, выезжая по дороге по каким-то хозяйственным, бумажным делам.

Хирург диагностического центра уверял, что даст пожить подольше тысяче-долларовый шведский золотой стент, и что некоторые живут с ним годами. Вшили этот стент. Глеб воспрянул духом и поделился со мной замыслом рассказа или повести — как сложится. Подробности я уже забыла, помнится только канва: два человека разного жизненного опыта, разного статуса потерпели жизненное фиаско, один в бизнесе, другой из-за семейных неурядиц. Да ещё эта демократия, которую не приняли оба. Жили они в зимовьях, ничего не знали друг о друге, встретились случайно, подружились, в свободное время облегчали душу рассказами обо всех превратностях своей судьбы, о причинах, которые заставили их удалиться от людей. Рассказали друг другу и о том, что рядом с ними, видимо, живёт и третий человек, горбун. Разглядеть его не удаётся — он сразу же исчезает, как только замечает, что его обнаружили. Есть такое поверье — с полночи до утренней зари мы все остаёмся без ангела-хранителя, он нас покидает, отправляется к Господу Богу и рассказывает Ему, как прошёл день и что хорошего или дурного сделали его подзащитные-хранимые. И всё дело в том, что горбуны (это и были ангелы-хранители, они, как я понимаю, прятали под одеждой свои крылья) совсем по-другому представляли Господу дела этих отшельников — всё мерилось другой мерой. Вот как-то так.

Глеб быстро понял, что этот закордонный стент такая же химера, как и российский, и жить ему осталось недолго — с ним Глеб прожил четыре месяца. Смерть принял спокойно — меня утешал: «Перестать, Тома, ничего необычного не происходит». Исповедался и причастился (спасибо Валентине Сидоренко) у отца Максимилиана, ныне епископа. И очень вовремя: приехавший из Новосибирска владыка Силуян, архиепископ РПСЦ, который нас когда-то венчал, застал Глеба уже невменяемым. Он так хотел умереть дома, но умер в нашем убогом стенах, хоть и обильном добротой, хосписе. Да что поделаешь? Ежедневно ездить в онкологический центр, брать ампулу обезболивающего, делать дома укол и тут же отвозить пустую ампулу назад, чтоб выдали следующую, — на это уже не было сил.

Вспоминаю всё как вчерашнее, а тому уже семь лет.

О чём бы ещё написать? Ловлю себя на том, что выуживаю из своей памяти сюжеты, людей, о которых можно было бы ещё вспомнить, оттягиваю время — лишь бы не писать в прошедшем времени о Валентине Распутине. Для меня он ещё живой, и, как прежде, их, Валентинов, два — молодой и московский. Молодой не отделим от Глеба, а московский чуть подальше, не виделись, бывало, по многу месяцев. И всё же он был всегда рядом — его физическое присутствие было необязательным.

Знакомство наше состоялось в 1969 году, но наслышана о Распутине была. Я работала в музее с его одноклассником Альбертом Костеневичем, который ревниво следил за успехами сокурсника. «Распутин пошёл в гору», — объявил он нам однажды, и все бросились читать вышедшую недавно повесть «Деньги для Марии». А тут вдруг приходит Глеб навеселе и приводит Распутину. Потом в квартиру на улицу Лыткина Валентин приходил довольно часто, однажды и мы с Глебом были у Распутиных в маленькой квартирке где-то возле цирка, тогда я познакомилась со Светланой — вот-вот на свет должна была появиться Маруся. Раньше я видела её только на теннисном корте, где она часто, и не без успеха, играла против Светланы Панченко, моей подруги.

Валентин не скрывал, что в его жилах течёт цыганская и тунгусская кровь, и в это легко можно поверить. Он любил бродить по городу, всегда, в отличие от Глеба, был лёгок на подъём — хоть за ягодами на 84-й километр Кругобайкалки, хоть в Японию — впрочем, пространственное беспокойство и у русских в крови — аж до Аляски добрели. Когда он, бывало, приходил поздно, один или с Глебом, мы старались его не отпускать, устраивали его на нашем довоенном широком немецком диване (он ещё служит мне). Я дождалась, когда он заснёт, затем бежала на первый этаж нашего дома к инвалиду ВОВ Василию Ивановичу, единственному на весь околоток имеющему телефон, быстро звонила Свете — «не волнуйся, он у нас» — и стремглав мчалась к себе. Однажды Валентин меня застучал, я попыталась оправдаться, каково это ждать мужа в полночь, — не уверена, что понял.

Распутин, мне кажется, во всю свою жизнь был сумеречным человеком, но при этом во всю свою жизнь имел вкус к шутке, розыгрышам. Любимыми объектами всех этих штук были Константин Житов, Глеб Пакулов, Николай Житков. Однажды они с Глебом пришли домой под утро — с первым трамваем. Бродили по городу, а потом устроились с бутылочкой на ограждении иногда действующего фонтана возле цирка. Дома Глеба тошнило. Валентин объяснил: «Опыта нет. Я-то, прежде чем запить водочку, побулькаю воду рукой, отгоню всякую муть, а он сразу — хлоп полными горстями. Проглотил лягушку». Глеб говорит: «Нет, лягушки не слышу, она тоже любит выпить — уже бы квакала от радости». Вот так «присбирывали», как говорила одна из распутинских старух, пока не утомонились.

Сразу же, как Валентин стал знаменитым и, главное, выездным (Машкин тоже был в те годы знаменитым, но не выездным), ему было в радость привозить из заграницы и дарить знакомым всякие диковины. Семья Стуковых удивлялась — откуда он узнал, что сын Валерия Стукова, тогда студент музыкального училища, Вениамин, не может купить какой-то мудрёный мундштук для саксофона, — Распутин привёз его из Японии. У меня тоже много чего от Валентина: шелковый шейный платок с изображением европейских замков — для просвещения, косметичка с идиллическим пейзажем, веер с рыбками из Японии, какой-то шершавый — не выскользнет из кармана — синий кошелёк. Нам, чухонцам, в диво, и ему в радость. А Глебу откуда-то привёз спиннинг золотистого цвета с катушкой, и набор всяких мушек, которые, попав в воду, начинали шевелить лапками, трепетать крылышками — впрочем, ангарский хариус этого не оценил. А в другой раз привёз японские часы. Глебу пояснил, что часы непростые, со встроенным чипом, позволяющим пройти на какой-то завод. Поедешь, дескать, в Японию, завод посети обязательно — не пожалеешь. И подгадай в обеденный перерыв.

— А что там? — Глеб понял, что Распутин решил развлечься и включился в игру.

— В это время приходят гейши. А как мы с тобой гураны — сойдём за своих. У тебя будет шанс убить медведя. Там, знаешь, какая забота о персонале — не наше горе.

— Так у гейш, вроде, другая специализация.

— Ну-у, это когда было. Теперь американцы прививают им демократию. Подрабатывают гейши.

— А успеют ли они за обеденный перерыв свой двенадцатиметровый пояс размотать?

— Наловчились.

— А ты сам-то много медведей убил?

— Нет, — вздохнул Валя, — с меня экскурсоводы в штатском глаз не спускали.

Глеб всегда понимал, когда Распутин станет его разыгрывать, «подсутыркивать», как говаривала моя крёстная. Тому являлись и приметы — в глазах, бывало, заискрятся смешинки, Валентин начинал шевелить губами, словно обкатывал слова, прежде чем выпустить их на волю. Лишь однажды Глеб остался в недоумении. Валентин повёз его на дачу, что-то надо было отремонтировать. По приезде домой Глеб рассказывал: «Только выехали на Байкальский тракт, и Валентин как попёр, наверное, под сто. Я ему кричу, куда прёшь, без году неделя за рулём! А он мне: так в том-то и дело — не могу остановиться. Хорошо, что машин не много. Едем дальше, вот и поворот. Я ему — ты хоть поворачивать-то умеешь? А он мне — ты пристегнись на всякий случай. Не знаю, верно, Ваньку валял, но лицо больно уж серьёзное». — «Так за рулём же человек, вот и серьёзное», — вставила я своё, но тоже без уверенности.

Вот, вспомнила, был ещё один случай. Исправив в иркутской квартире Распутиных какие-то ванно-кухонные неполадки, по приходе домой Глеб обнаружил, что оставил у них недавно приобретённый удобный компактный набор инструментов. Предваряя мою реакцию, спешно и решительно отрезал: «Забирать не стану!» Я бегом (было время дефицитов) поехала в магазин, указанный Глебом, и, к счастью, купила такой же набор. Вскоре пришел Распутин, застал Глеба за устройством полки в «тёщинку», бросил взгляд на футляр с инструментами и радостно воскликнул: «О! И у меня такой же!»

В 1979 году я защитила диссертацию, но ехать за дипломом в Москву было накладно. Валентин вызвался его привезти, и таки привёз. «Столько мытарств ради такого клочка бумаги!» — удивлялся он. Оно и вправду, без купленной самим диссертантом твёрдой корочки диплом выглядел неказисто, но жить стало легче.

Замечаю какие-то странности с памятью. Между молодыми, на мой сегодняшний взгляд, годами, т. е. семидесятыми—восьмидесятыми и девяностыми—двухтысячными намечается какой-то провал. Встречи были редкими — вот Распутин у нас в большой комнате у гроба мамы, несколько раз в Новый год приходил на день рождения Глеба, где все знали, что с ним будет по-особому празднично, не стоит только заводить разговоры о политике — он, познав политическую закулису не понаслышке, не хотел выслушивать суждения, почерпнутые из медиазаморочек. В основном же встречи бывали в Союзе писателей, на праздниках «Сияния России» и, к сожалению, на похоронах. Но всё равно было ощущение, что он где-то рядом.

Отношение Валентина Распутина к Глебу, некоторая снисходительность к его жизненным вывертам, определялись, помимо всего прочего, состраданием: как Глеб о гибели Маруси, о том страшном августе 1972 года, он никогда ему не на-

поминал. Валентин, как никто другой, знал, с чем ему жить придётся. Жалел его. Глеб всегда это благодарно чувствовал.

Летом 2010 года Валентин уже знал, что Глеб неизлечимо болен, приходил к нам в Солнечный в сопровождении неизменного Кости Житова, дважды приходил один (приводили соседи) — всё никак не мог найти наш подъезд (где, интересно, был в это время Костя Житов?).

«Гарь» Пакулова вышла по сегодняшним меркам неплохим (за четыре издания) тиражом в пятнадцать тысяч экземпляров, но единственный «гонорар» был от Валентина Распутина. Зная, что Пакулов — автор из нерасторопных, он привёл к нам бизнесмена из Братска, который купил книг на шестьдесят тысяч рублей. В свой последний приход 30 октября 2010 года он подарил Глебу красиво изданную, с магнитной застёжкой книгу «Земля вокруг Байкала», сделал надпись: *«Брату Глебу дружески и с любовью, которые никогда и ничто не могло затмить. Спасибо, брат, за всё. Ну, и подержимся ещё немного. Тамаре кланяюсь. В. Распутин. 30.10. 2010».*

Они знали, что больше не встретятся, простились в коридоре, Глеб ушёл в спальню и закрыл дверь. Провожая Валентина до двери подъезда, мы понимающе посмотрели друг на друга. Потом он сказал (как будто бы меня это могло успокоить). «У Светы тоже уже четвёртая стадия. Что сделаешь? Крепись. Жить будем». Мы обнялись.

Света после своей смерти мне снилась. Не знаю почему, мы никогда не были близки. Один сон я Валентину рассказала: я сидела за столом на кухне, вдруг заходит Света, села напротив меня, обхватила руками свои плечи, поежилась и сказала — холодно мне. Я принесла ей свой белый оренбургский платок, она в него укуталась, посидела немного, потом встала и ушла. Я мгновенно проснулась и зачем-то побежала к вешалке — убедиться, на месте ли платок, всё было так реально. Только потом я догадалась, отчего Валентин во всё время моего рассказа так странно на меня смотрел...

Вижу я во сне и Валентина. В любое время года в одной и той же в мелкую серую клетку рубашке — это валентинов подарок Глебу. Перед моим переездом к племяннику, о чём я даже ещё и не помышляла, вижу Валентина, он расчищает передо мной дорогу, разбрасывая во все стороны снег большим самодельным деревянным пихлом. Наутро я узнала о своём переезде.

Перечитала написанное о Валентине Распутине и поняла, смахивает он у меня, скорее, на любимого доброго дядюшку: не вышло разговора о великом писателе, который заглянул в душу своего народа и слился с ней настолько, что я, например, воспринимаю его старух почти как распутинский автопортрет. Эта нераздельность, как это всегда получается у великих писателей, того же Достоевского, есть выражение общности его души с народной. Об этом более или менее хорошо писали и ещё будут писать, а я же пишу воспоминание, это всё-таки не тот жанр, где ставят серьёзные аналитические вопросы. Дело ещё и в другом, главное, то, что составляет понятие «Распутин», до меня ещё не дошло, и до конца моих дней не дойдёт уж точно...

Как говорил Леонардо да Винчи, «хорошо прожитая жизнь — долгая жизнь». Судя по делам, Распутин прожил не одну жизнь. Он мечтал о творческом писательском уединении и одиночестве, но... «для веселия планета наша мало ободурована», а потому, по заветам нашей великой учительной литературы и в полном соответствии с корневым смыслом нашей сотериологической (спасительной)

православной культуры, Распутину пришлось не только спасать народ Словом: писать повести, которые ждала и взахлёб читала Россия, но, когда надо, отложив свои писательские заботы, спасать страну делом — спасать Байкал, спасать Сибирь от поворота куда-то её рек, спасать культуру, книгу — он был вдохновителем и устроителем Всероссийских фестивалей и «Сияний России». В надежде умерить свистопляски нашей перестройки, бил в набат — писал пронзительную публицистику. А ещё строил церкви, отливал колокола для строящихся церквей, устраивал библиотеки. Это он, Распутин, написал книгу неслыханного жанра — «Сибирь, Сибирь...». Книга эта не только о прошлом, это книга провиденциальная. Её ещё никто толком не прочитал. Прочитают, если ещё не «совсем изнемог», как горько заметил Распутин в конце жизни, наш русский народ.

Мы виделись в последнюю его иркутскую осень 2014 года в областной больнице. Говорили недолго — он ждал именитых гостей. Пожаловался: мало того, что в ушах постоянный шум, так ещё и колокольные звоны стал слышать.

И теперь слушает. У стены храма...

Март 2018 года